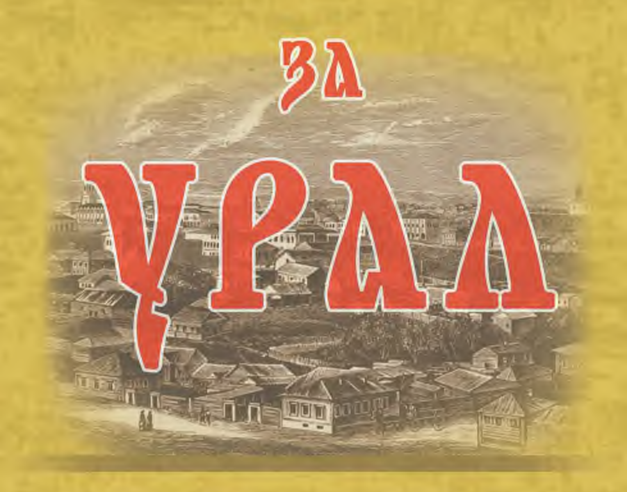
Н. Телешов

За Урал



Из скитаний по Западной Сибири

очерки

Государственная публичная историческая
библиотека России

Н. ТЕЛЕШОВ

ЗА УРАЛ

ИЗ СКИТАНИЙ ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Очерки

Москва
2017

УДК 94 (47)
ББК 63.3 (2) 51
Т 31

Печатается по изданию: Телешов Н. За Урал. Из скитаний по Западной Сибири: очерки / Н. Телешов.— Москва: Т-во И.Д. Сытина, 1897.—214, [VI], II с.

Телешов Н.

Т 31 За Урал. Из скитаний по Западной Сибири: очерки / Н. Телешов; предисл., коммент. Л. В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России.— М., 2017.— 160 с.

ISBN 978-5-85209-405-6

Николай Дмитриевич Телешов (1867—1957) — русский советский писатель, поэт, организатор кружка московских писателей «Среда». Принадлежал к кругу писателей демократического направления. Его первые рассказы опубликованы в 90-х годах XIX в. и посвящены купеческому и мещанскому быту. В 1894 г. Телешов по совету А. П. Чехова предпринял поездку по Западной Сибири, результатом которой стали путевые очерки «За Урал» (1897). Значительное место в очерках занимает коллективный образ переселенцев в Сибирь, их жизнь в нужде, голоде и холоде. Скитаясь по городам Западной Сибири — Перми, Екатеринбургу, Кургану, Томску, Тюмени, другим городам и поселкам Сибири и Урала, автор описывает быт ссыльных, рабочих, крестьян, условия труда на рудниках и фабриках, приводит интересные исторические факты.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2) 51

ISBN 978-5-85209-405-6



ХОЖДЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ ПО НАРОДНЫМ МУКАМ

Автор этой книги путевых очерков, русский, а затем и советский писатель Николай Дмитриевич Телешов (1867—1957), довольно прочно забыт читателями. Разве только специалисты-москвоведы с трудом припоминают его, и то в связи с его книгой воспоминаний «Записки писателя» (М., 1966) и с гремевшими когда-то по интеллигентной Москве «Телешовскими средами». До сих пор на углу Покровского бульвара стоит отмеченный мемориальной доской дом, где на рубеже веков собирались потолковать о литературных делах писатели-«знаньевцы». Так называли писателей демократического направления, входивших в издательство «Знание», возглавлявшееся Максимом Горьким. Прочно, а нередко и справедливо, забыта и большая часть этих друзей Телешова и сподвижников Горького — С. Т. Семенов, В. В. Вересаев, С. А. Найденов, А. С. Серафимович, С. Г. Скиталец, Е. Н. Чириков, С. С. Юшкевич... Сегодня из них по праву сохраняется в памяти лишь имя Ивана Алексеевича Бунина, да иной раз поминают Л. Н. Андреева и А. И. Куприна. Впрочем, Бунин, пожалуй, принадлежал к этому кругу постольку-поскольку...

Русские дореволюционные литературоведы, хотя бы Д. Н. Овсянико-Куликовский, в свое время выделяли группу писателей-«шестидесятников»: Н. Г. Помяловского, Ф. М. Решетникова, В. А. Слепцова, А. И. Левитова, Николая Ивановича Успенского (не путать с Глебом Ивановичем!), отмечая их крайнюю тенденциозность в духе Н. Г. Чернышевского: реалисты, они ничего не придумывали, а просто тенденциозно отбирали нужные им детали, игнорируя прочее. Да и сами эти писатели устами одного из героев романа Помяловского характеризовали свое творчество примерно так: не нашему-де брату, бедняку, отделывать текст. Ляжет случайно горячее слово, выльется на страницу — и ладно... «На табак хватает».

Нет, конечно же, не ради табака писали эти, вышедшие из народных низов писатели о мученической жизни народа. Ради табака и стакана водки (а большей частью все они страдали нашим национальным недугом) можно было бы писать прошения где-нибудь в присутствии или в кабаке «у Иверской» да драть с просителей двугривенные и четвертаки. Недаром же Глеб Иванович Успенский, хотя формально и не относили его к «шестидесятникам», буквально сгорел от тоски, от сострадания народу. Ведь писал он свои очерки не чернилами — кровью сердца.

То же — и повторившие судьбу «шестидесятников» «знаньевцы». Выходцы из народных низов, они живописали трагическую жизнь этих низов. Да, именно трагическую. Невиданными темпами росли многочисленные заводы, густела сеть железных дорог, купеческие торговые дома и товарищества ворочали огромными миллионами. Только вот какой ценой? Чего это стоило народу?

«Знаньевцы», и Телешов в том числе, и показывали эту цену, демонстрируя читателю оборотную сторону медали. Однако думается, что полностью «знаньевцам» доверять не стоит: они так же были тенденциозны, как и «шестидесятники», стремясь ужасами жизни на самом ее дне поразить читателя.

Литературная деятельность Телешова началась в середине 80-х годов XIX века. Первые его произведения печатались в незначительных периодических изданиях; лучшие из них вошли в сборник «На тройках» (1895 г.). Часть этих рассказов впоследствии составили циклы «По Сибири» и «Переселенцы». Материалом для некоторых произведений сборника послужило повествование родственника Телешова о поездке на знаменитую Ирбитскую ярмарку. По форме это были путевые заметки. Путешествие московских купцов в Ирбит развернуло перед читателем картину загадочной страны, лежавшей за Уральским хребтом. Но подлинную известность писателю принес публикующийся здесь сборник «За Урал». Эти рассказы были уже результатом предпринятого писателем в 1894 году самостоятельного путешествия, его непосредственных наблюдений во время поездки по Уралу и Западной Сибири. Жанр путевых очерков был в конце XIX — начале XX века весьма распространенным. Вспомним хотя бы поездку А.П. Чехова на Сахалин. Он позволял, не прибегая к вымыслу, а значит, и снискивая максимальное доверие читателя и не вызывая претензий цензуры, показать реальную картину жизни народа. Описания природы здесь сменялись бытовыми зарисовками, характеристикой нравов обитателей

малоизвестных широкому читателю мест и яркими очерками подлинных условий жизни народа.

Значительное место в очерках Н. Телешова занимает коллективный образ переселенцев в благословенную Сибирь. Тех, кто в буквальном смысле слова уходил (так называемые «самоходы») от безземелья и нищеты в коренной России. Тех, кто под равнодушным чиновничьим оком неделями «проедался да детей хоронил» в многочисленных переселенческих лагерях, ожидая перевозки в загаженных вонючих баржах. Недаром пароходы медленно тянут по могучим сибирским рекам баржи с переселенцами разом с баржами со ссыльно-каторжными, а звенящие цепями этапы каторжников тянутся под конвоем за партиями переселенцев. Да, пожалуй, судьба каторжников была и получше переселенческой: казенное пропитание и обмундирование да крыша над головой в этапных острогах им были гарантированы и «казенного человека»-каторжника никто не мариновал по дороге в чистом поле неделями.

Читали мы и документы, и воспоминания о том, как шли на Северный Урал и в Сибирь партии все тех же полтавских или рязанских крестьян, либо поволжских немцев, крымских татар, латышей и прочий «сущий в ней язык», как закапывали они в мерзлую землю детишек и стариков. Разница между ними и описанными Телешовым переселенцами лишь в том, что одни шли в Сибирь по своей воле, а других неволей переселяли (официально они назывались «спецпоселенцы» и «спецпереселенцы») в еще горшую неволю. Потому что за процветание государства всегда платит народ. И за кризисы, порожденные догматизмом ли или авантюризмом правящей верхушки, платит он же.

Да что там — никому не нужные переселенцы и даже ссыльно-каторжные. А вольные люди-горняки в малахитовой шахте, изможденные и бледные,— им разве лучше? Нависающие над головой каменные глыбы, постоянно струящаяся по ним вода, пропитывающая одежду, спуск и подъем в десятки метров по гнилым лестницам, постоянная угроза гибели под обвалами или при падении в шахту — такова плата за те изделия из полированного малахита, которые так радовали глаз тех, кому не было нужды добывать этот малахит. А горновые возле сварочных, кричных и пудлинговых печей? Сказав мимоходом о нестерпимом жаре возле них, не упомянул Телешов, что была у горновых мастеров мода: медный нательный крест возле печи перебрасывать с груди на спину: так обжигал он тело, разогревшись. А старатели на

выработанных приисках, ради одного-двух золотников золота не разгибавшие спины? Мы-то нынче страсть как боимся ртути и ее ядовитых паров, а они это золото, в конечном счете, получали, заливая золотоносный песок ртутью и выпаривая ее на открытом огне.

И все же Сибирь — это не великорусские губернии. Телешов не один раз подчеркивает разницу между новопришлыми «расейскими» и давно укоренившимися старожилами. Нет в Сибири главного — рабьего духа. Нет и рабьего стремления слупить с проезжего человека лишнюю копейку. Свобода порождает совсем иной дух в народе. Читая эти очерки, обратите внимание на «дружков», вольных извозчиков: при смене никто из них не попробовал хотя бы копейку набавить сверх изначально условленной платы. Известный русский общественный деятель, социалист-утопист В.И. Танеев, описывая в воспоминаниях свои поездки из Москвы во Владимир на «вольных» (те же «дружки»), сетовал, что с каждой сменой извозчика лошади становились все хуже, скорость езды все ниже, а плата все выше. Не то в вольной Сибири, где «дружок» везет не «барина», а просто спутника. Описавший свой путь в Енисейскую ссылку революционер-шестидесятник Л.Ф. Пантелеев тоже отметил этот независимый дух, это самоуважение сибирских ямщиков.

Говоря о книге путевых очерков Телешова, приходит на ум еще одно. Те страшные картины переселенческих мытарств и горных работ, которые, надо полагать, ужасали тогдашнего интеллигентного читателя, свободно дважды прошли через печать: сначала в журнале, а потом отдельной книгой. А ведь писались они «в года глухие», в период реакции, связанной с именем Александра III, в 1894 г. Понятно, что дозволены были эти картины «к тиснению» царской цензурой, о которой мы все были столь наслышаны. Знать, не столь уж свирепа была эта цензура. И русская литература свободно описывала и народную нищету, и нечеловечески тяжелый труд горняков, и мучения переселенцев, и равнодушие бюрократии, раскрывая все это перед широким читателем.

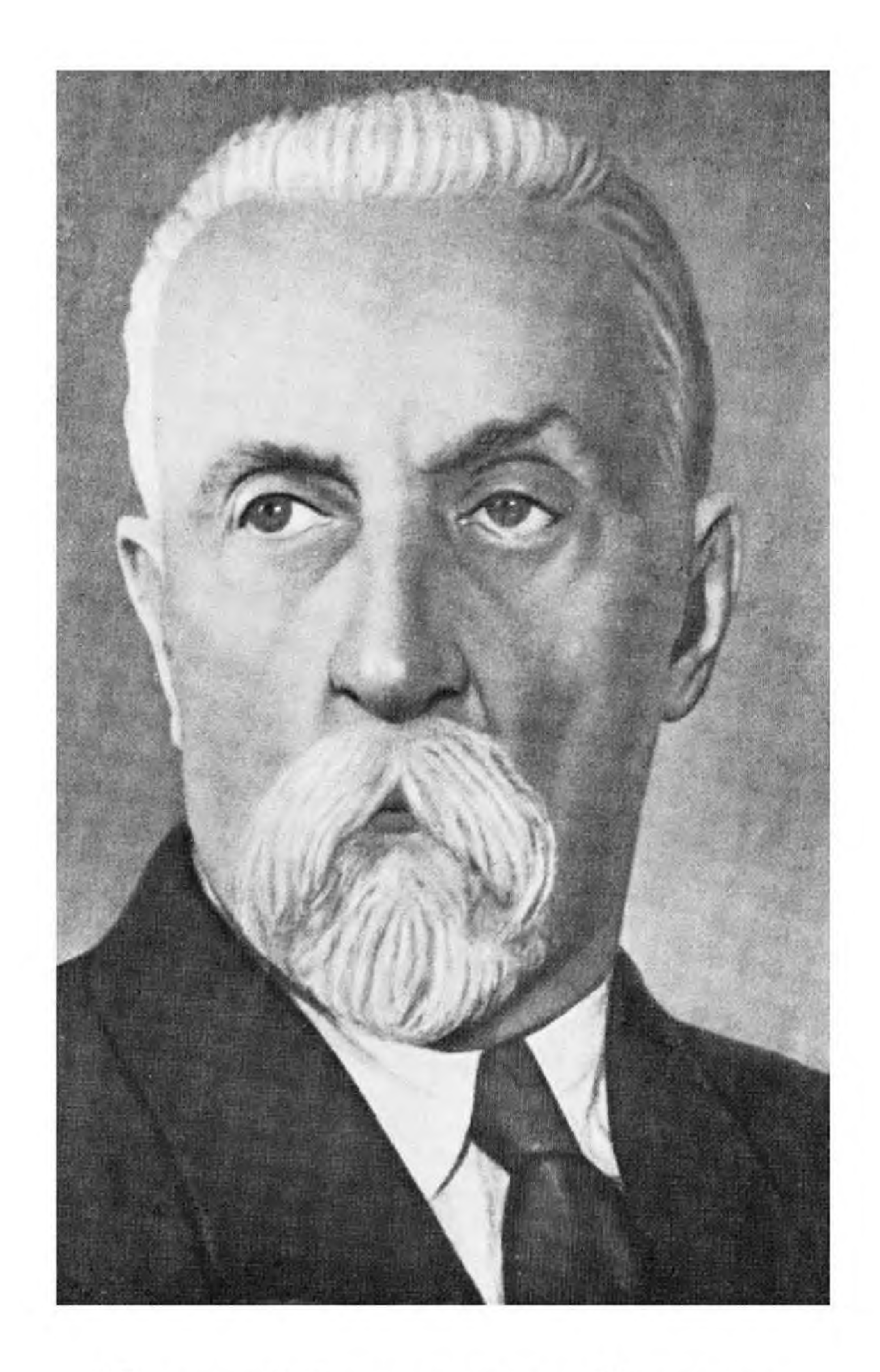
Л.В. Беловинский,
доктор исторических наук

ЗА УРАЛ

ИЗ СКИТАНИЙ ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

(дорожные впечатления, слухи и встречи)





Николай Дмитриевич Телешов
(1867—1957)

ОТ АВТОРА

Года два тому назад мне довелось провести несколько месяцев в Западной Сибири, скитаясь по ее городам, рекам и дорогам. Помимо новых мест, обычаев и новых людей, передо мной открылась во всей своей наготе странная, почти неправдоподобная жизнь наших переселенцев,— жизнь на ходу, среди невзгод и лишений, голода и холода. Эта жизнь оставила на меня неизгладимое впечатление всесильной власти нужды и глубокого народного горя, доходящего иногда до полного отчаяния...

Многое с тех пор, конечно, переменилось, как изменилось и главное переселенческое русло, благодаря открытию Сибирского железнодорожного пути. Но сами переселенцы с их горем и невзгодами остались те же, только вместо Тюмени свидетелями этих страданий сделались Челябинск, Омск и другие пункты.

Описания прекрасных мест нашей родины, каковы Крым или Кавказ, имеют уже давно своих читателей, но за последнее время замечается в публике интерес и к далеким окраинам с их серой, будничной обстановкой, где жизнь — не праздник. Пусть в предлагаемой книге читатель не ищет научного исследования края, а выслушает только простой рассказ о встреченных людях да попутных впечатлениях.

Ранее, печатая в журнале свои очерки, я не имел в виду издавать их отдельной книгой, но многие газеты и журналы удостоили «За Урал» своим вниманием и в некоторых случаях даже перепечатками, что и дает мне повод предполагать, что среди читающей публики настоящее издание, может быть, и не будет лишним.



ЗА УРАЛ

из скитаний по Западной Сибири
(дорожные впечатления, слухи и встречи)

I

По реке Каме.— Попутчики

Пароход загудел, подавая сигнал другому судну, которое мы догоняли, плывя вверх по реке Каме. Вечер был тихий; остатки желтого зарева еще не погасли на небе, и было светло настолько, что я свободно мог прочитать надпись на барже, которую тащил на длиннейшем канате небольшой пароход, и мог разглядеть печальные, суровые лица его пассажиров.

На палубе этой баржи, имевшей большое сходство с пароходами, лишь без трубы и колес, стояли солдаты в черных мундирах, а посредине, в громадной общей каюте, похожей на гигантскую клетку, занимавшую чуть не всю площадь баржи, сидели и лежали арестанты за железными частыми прутьями и молча глядели на нас, свободных людей, как мы гуляли беспечно по палубе, курили и болтали друг с другом... Мы быстро их обгоняли, а они, точно звери, прислонясь лбами к крепкой сквозной стене, сосредоточенно и молча провожали нас взорами. Вероятно, наш вид и вообще наша встреча подействовала на них не в веселую сторону; вероятно, зависть и раскаяние, злоба и горе — все это вместе

взятое и перемешанное, хотя на мгновение, но охватило их души: вид свободных людей, быстро уносящихся мимо по тому же пути, вряд ли мог пройти для них совершенно бесследно.

Когда мы миновали баржу и длиннейший канат и нагнали самый пароход, тащивший за собою эту арестантскую партию, я заметил, что он был переполнен иным сортом людей, грустных и сосредоточенных,— как те, но свободно стоявших на палубе и глядевших в открытые окна — как мы. Это были переселенцы.

Какое странное соседство и совпадение! Недаром оба судна отделены друг от друга таким длинным канатом! Одни едут в Сибирь искать благополучия, бегут от нужды и бедности из родной земли и тянут за собою другую партию, за которую так много и ясно говорят эти бритые головы, крепко прижатые лбами к решетке.

— А кого из них ожидает лучшая доля в Сибири?— спросил меня один из попутчиков, вероятно, как и я, думавший в эту минуту о странном соседстве переселенца и арестанта.

О переселенцах я не имел почти никакого понятия. Я видал их раньше лишь под Москвою, когда езжал по Курской железной дороге; на мои вопросы они отвечали тогда, что едут в Сибирь на новые места,— и только; они не имели ни печального, ни жалкого вида, и по ним я не мог судить о тех переселенцах, в помощь которым собираются деньги, издаются сборники и т. п. Да и самый вопрос занимал меня ранее, к сожалению, очень мало.

— Грустное явление на Руси — наши переселенцы!— продолжал мой попутчик. — Даже верного представления о них не имеется у нас ни в обществе, ни в печати. Я сам — сибиряк и видал их великое множество. Все они едут с золотыми мечтами, рассчитывают, что в Сибири молочные реки, а берега кисельные и что там будет им только одна забота — плодиться, размножаться да наполнять землю... А приехали,— глядь, земля все такая же, урожаи те же, работать нужно не меньше; только надел посолиднее. «Нет,— говорят,— здесь, братцы, плохо!» И едут обратно, растратив весь

свой крестьянский капитал. А на родине уж все хозяйство разорено и все продано, и таким образом у них ни гроша в карманах!.. Кем же они становятся после этого? Нищими, ворами — вот и вся их несложная история!.. Вас, может быть, поразят цифры: в прошлом году, например, прошло через Тюмень около 80 тыс. душ — через одну только Тюмень! Однако многие уже успели сбежать, потому что истинных бедняков, у которых нет или мало земли, идет сравнительно незначительное количество, а лезут к нам больше люди иного сорта, жадные, ленивые и — не совсем подходящее для мужика название — аферисты да кулаки![1] А приехали они да увидали, что здесь уже давным-давно все занято: и кулаки есть собственные, и кабаки имеются,— ну, делать им и нечего. И вот начинаются те же кляузы, пособия да казенные харчи... И такое переселенчество прогрессирует год от года!

— Как же относится к ним после этого местное население?— спросил я, не имея основания ни спорить, ни соглашаться.

— Прескверно!— отвечал попутчик. — Их иначе и не зовут, как «самоходами», т. е. во вкусе сорванцов и нахалов. Да и как не относиться враждебно, если в холерный год, например, эти самоходы бросали трупы прямо в озера, а рубахи с покойников на себя надевали. Да и мало ли безобразий они делают!

Таково было первое мнение, которое я услышал из уст сибиряка о переселенцах. Мне еще предстояло встретиться с ними в Тюмени, увидать воочию их житьё-бытьё, расспросить о причинах бегства из родной земли и о соблазнах переселения... Мне почему-то не верилось, чтобы мой попутчик был прав.

Между тем наступили сумерки. С мачты давно уже сняли флаг и подняли наверх фонарь. На реке было темно и свежо. С монотонным шумом стремился наш пароход. Кое-где, далеко по берегу, пылали костры, навстречу попадались плоты и баржи с сигнальными огоньками, на небе светились звезды; иногда среди речного затишья доносился тягучий, бесстрастный голос лоцмана, выкрикивавшего меру: «Шесть с половиной!..

Шесть!.. Шесть!.. Пять с половиной!..»[2] Иногда на несколько минут все затихало, кроме шума машины, и, кроме звезд, не виднелось впереди ни одной светлой точки...

В рубке пассажиры готовились ужинать. Какой-то генерал читал газету; около него за стаканом чая сидел молодой человек, далее за столом — две дамы и поодаль два татарина. Вероятно, соскучившись молчать, молодой человек обратился к маленькой лохматой собачонке, которая сидела на полу и завистливо глядела ему в рот, когда он пил чай.

— Хочешь сахару?— сказал молодой человек, наклоняясь к болонке.

— Хочу!— послышался пискливый ответ.

Все обернулись.

— Правда, хочешь?

— Ей-богу, правда!

Общее изумление... Все глядели на собаку и на молодого человека, не понимая, в чем дело.

— Попроси!— продолжал молодой человек.

— Дайте, пожалуйста!— отвечала собака пискливым, глухим голосом.

Генерал скомкал газету и расхохотался на всю рубку. Дамы пересмеивались между собою, а татары в изумлении поднялись, и один из них заглянул даже под стол.

Молодой человек оказался чревовещателем. Он ехал куда-то на ярмарку и, от нечего делать, вздумал потешить попутчиков. С ним сейчас же все познакомились, и он долго забавлял пассажиров разными шутками: то ловил в шляпу «нечистую силу», которая у него просила пощады и тенденциозно пророчествовала, что его за это кто-нибудь угостит ужином,— то разговаривал с собакой или подражал голосу лоцмана. Пророчество нечистой силы, однако, не сбылось,— и чревовещателю в 11 часов ночи, когда мы прибыли в Пермь, пришлось уходить без ужина.

II

Город Пермь

Что можно сказать о городе, проведя в нем несколько часов, если даже коренные жители на вопрос — что интересного в Перми?— отвечают, что ничего нет.

— А куда следует пойти? На что обратить внимание?

— Некуда... Не знаю... Не на что...

Вот ответы, которые мне приходилось слышать в гостинице, в магазинах, даже в клубе от местных жителей, начиная с торговца и кончая офицером. В наилучшем книжном магазине не нашлось тоже ни путеводителя, ни исторической брошюрки и ни малейших сведений. Немудрено поэтому, что в Перми до прошлого года не было хотя бы маленького музея, какие существуют во многих уральских и сибирских городах. Общественная библиотека, куда вход учащейся молодежи воспрещается, получает от города средства незначительные, достаточные лишь на новые журналы, а новые книги приобретаются на доходы от публики[3]. Невелики, вероятно, эти доходы, если в библиотеке, где из новых писателей лучшим спросом пользуется, как мне сообщали, Чехов, имеются этого автора только «Невинные речи», а других вещей, составивших Чехову имя, приобрести еще не успели.

Помимо церквей и школ, здесь немало благотворительных учреждений; существует театр, имеются клубы и летние сады, издаются очень тщательно «Губернские ведомости», и недавно положено начало музея, но он так еще мал, всего в две комнаты, что, кроме нескольких коллекций, как, например, камней, насекомых, древесных пород, яиц, монет и денежных знаков,— почти ничего не имеет.

О происхождении самого названия города было много споров и разногласий. Одни говорили, что Пермь произошла от слова Пармия, т. е. гористая страна*, другие утверждали, что от слова *paarma*, что означает укра-

*Древняя и новая Россия. 1876. Т. II. С. 355.

ину, но более вероятное объяснение можно встретить в изданиях XVIII столетия*, где говорится прямо, что имя Пермь осталось от древней северной области Биармии[4], которая еще до Рюрика имела своих государей.

Первым селением на этом месте была деревня «господ баронов» Строгановых[5], пожалованная в 1558 г. царем Иоанном Грозным; затем, по открытии здесь медной руды, построен был медеплавильный завод по повелению Петра I, в 1723 г. Получив название Ягошихинского, завод в царствование Елизаветы был пожалован графу Воронцову, но ввиду многих выгод от речного пути до Каспийского моря, ввиду возраставшей торговли и населения, в 1781 г. завод был переименован и возведен в степень губернского города, а через пять лет в нем уже было основано главное народное училище, «в коем юношество всякого звания обучалось различным знаниям на природном языке»,— а также были назначены три ярмарки.

Такова в кратчайших словах история Перми.

Теперь это город с 35-тысячным населением, с судоходством по Каме и Волге и с железною дорогой через Урал до начала Сибири. Город служит складочным местом для товаров, которыми меняются Азия со среднею Россией, и на здешних пристанях грузится и разгружается товаров на десятки миллионов рублей.

Заговорив о городе, нельзя не упомянуть о заводе сталепушечном, который в значительной степени содействовал и продолжает содействовать благополучию Перми. Он, впрочем, имеет собственный интерес и свою историю, и деятельность его известна далеко за пределами России; но, не будучи специалистом, трудно передать что-либо о таком великане, где занято работою около трех тысяч человек. Завод расположился под самою Пермью, верстах в трех или четырех от города, при речке Мотовилихе, отчего и получил название Мотовилихинского. С одной стороны его проходит русло Камы, а с другой находится станция Уральской желез-

---

* Географический лексикон Российского государства, 1773 г., собранный Ф. Полуниным, с пополнениями Герарда Миллера.

ной дороги. Здесь выделывается много всевозможных вещей, начиная с гранат и пушек и кончая паровыми и пароходными машинами; кроме того, в конце восьмидесятых годов введена электрическая отливка по способу Н. Г. Славянова, применяемая для исправления машин и спайки колоколов.

Кто бывал на Урале и не видал заводов,— тот не видал ничего!.. По крайней мере так говорят сами уральцы, и до некоторой степени они правы, потому что заводы эти поражают своею грандиозностью, и первый из них, который встречается на пути туриста, есть Мотовилихинский.

III

Мотовилиха.— Сталепушечный завод

Я уже ранее слыхал немало рассказов об этом заводе, слыхал о знаменитом молоте, который весит три тысячи пудов[6] и при работе потрясает не только здания, но и землю на несколько сажен[7] вокруг. Взглянуть на все это, хотя бы и мимоходом, мне представлялось очень заманчивым.

Испросив разрешение на осмотр, я получил немедленно пропуск и провожатого, с которым мы несколько часов ходили по заводу, но, повторяю, без специальной подготовки трудно рассказать о том, что я видел, о всех интересных подробностях, благоустройстве и деятельности этого «царства металла». Самый завод с его зданиями, разбросанными по громадной площади, и прилегающее к заводу село Мотовилиха с 12-тысячным населением представляют собою почти что город.

Сейчас же, едва входишь во двор, стоит на особом постаменте огромная чугунная пушка, отлитая в шестидесятых годах, заряжающаяся с дула круглым ядром. Это единственный экземпляр, оставшийся при заводе в виде памятника, потому что тип таких гладкоствольных пушек оказался неприменимым к делу и был оставлен. Для более удобного передвижения тяжестей и доставки

материалов, по всему двору проложены узкие рельсы конно-железной дороги. Обходя все отделения, где производится сверление пушек, нарезка орудийных стволов, достигающая математической точности, изготовление шрапнелей, лафетов, паровых машин, котлов и т. п., я более всего заинтересовался грандиозным зрелищем, о котором ранее не мог составить никакого представления, хотя и слыхал немало рассказов. Это кузнечно-молотовая и сталелитейная фабрика, составляющая одно из заводских отделений. Здесь, помимо гиганта, 50-тонного молота (тонна равняется 60 пудам), имеются еще несколько второстепенных молотов: в 15 тонн (900 пуд.), в 12, 8, в 5, т. е. в 720 пуд., в 480 пуд., в 300 пуд. и т. д., кончая легким, 20-пудовым. Немудрено поэтому, что при действии всех молотов земля дрожит почти на версту[8].

Не говоря о других, главный молот оставляет на зрителя, не посвященного в заводские подробности, страшное впечатление, особенно если уже известно, что эта падающая и поднимающаяся масса равняется 3000 пуд., а при действии верхнего пара может быть увеличена сила удара вдвое и даже втрое, т. е. доведена почти до 10 тыс. пуд. Тогда под молотом можно ковать слиток в несколько тысяч пудов! Впрочем, эти страшные удары рассчитаны до такой тонкости, до такой мелочи, что тот же самый молот, который, падая на наковальню и потрясая землю, в силах сжать и сплюснуть 3-тысячный слиток, может ударить по карманным часам, положенным на наковальню, так, что разобьется лишь стекло, а часы останутся невредимы. Но можно ударить и так, что от этих часов не останется даже пыли.

Глубина фундамента под молотом достигает 16 сажен, а чугунный «стул», т. е. основание для наковальни, весит 40 тыс. пуд. Благодаря весу и тому, что стул этот отлит на здешнем заводе не частями, а целиком, устройство молота считается образцовым и первым в России.

Когда я вошел в эго отделение, земляной пол уже дрожал под моими ногами. Повсюду зияли адские пасти печей, и удары нескольких молотов заглушали всякие

другие звуки. Никогда в жизни мне не приходилось еще видать такой силы, как этот гигантский молот, распоряжающийся формами металлического слитка чуть не в тысячу пудов с такою же легкостью, с какою ребенок распоряжается формами хлебного шарика.

Много разнообразных картин промелькнуло перед моими глазами; я видел, как текла, словно масло, шипящая и сверкающая расплавленная сталь, видел, как из калильной печи выдвигалось толстое металлическое бревно, как подхватывалось оно и на цепях подводилось к молоту, как молот при первом же ударе оставлял на этом гигантском слитке свой решающий след; видел зияющие пасти печей, перед которыми невозможно, кажется, пробыть и десяти минут, потому что лицо и руки жжет как при сильнейшем пожаре, а между тем рабочие переносят это легко. Впрочем — легко ли?..

Печи отапливаются здесь четырьмя различными средствами: нефтью, дровами, каменным углем и газом, причем последние получают газ из 60 генераторов[9] по трубам.

Обращаясь к историческим данным, мы узнаем, что завод был начат постройкою в 1736 г. на землях, принадлежавших Строганову, в 1738 г. пущен в дело, в 1757 отдан гр. Воронцову Михаилу Илларионовичу, а в 1780 поступил обратно в казну. В то время он именовался казенным медеплавильным заводом и вместе с соседним заводом, Ягошихинским, выплавлял меди от 7 до 8 тыс. пуд. в год, которая преимущественно отправлялась в Екатеринбург на монетный двор. Но в шестидесятых годах нынешнего столетия было решено его закрыть, за истощением руды, и основать на его месте сталепушечный завод под именем Пермского, или Прикамского.

В заводской конторе между прочим можно приобрести на память фотографические снимки различных зданий, подробностей и видов завода. Это небольшие рисунки, очень недурно исполненные, наклеенные на картон с отпечатанными, в виде виньетки, достопримечательностями завода; тут изображен и паровой большой молот, и река Кама, образцы изделий и пушек,

и общий вид, так что туристу, желающему сохранить воспоминания о заводе, предоставляется возможность иметь наиболее интересные рисунки за крайне дешевую цену — 65 коп. за штуку.

Без особого разрешения публика на завод не допускается. Для обозрения, которое разрешают всякому желающему, необходимо запастись у горного начальника или секретаря пропуском, где на печатных бланках вписывается имя посетителя, год и день осмотра.

Торопясь покинуть завод, чтоб успеть до отхода поезда осмотреть город, я, может быть, не знал бы, куда деваться — до такой степени безынтересна Пермь,— если б не была открыта выставка археологических коллекций и предметов древности Пермского края. В видах ли научной цели или по каким-нибудь иным причинам, на эту интересную и обширную выставку публика допускалась бесплатно. Из всех выставленных предметов мне приходится указать лишь на три, именно на те, которые имеют непосредственную связь с моим дальнейшим путешествием. Это портрет основателя Уральских заводов, Никиты Демидова[10], бывшего тульского кузнеца (о нем еще речь впереди), изображенного в сюртуке и красном плаще, со строгим типичным лицом. Затем интересны чугунная доска и медный стол, временно взятые для выставки из Нижнетагильского музея, где они постоянно хранятся.

Громадный медный стол, раскидной, с тремя растворами, интересен тем, что отлит в 1715 г. и имеет на средней крышке следующую рекомендацию, которую привожу с подлинною орфографией.

«Сия первая в России медь отъискана в Сибири бывшим камиссаром Никитою Демидовичем Демидовым по грамотам великаго Государя Императора Петра Перваго в 1702—1705 и 1709 годах, а из сей первовыплавленной Российской меди зделан оной стол в 1715 году».

Чугунная доска с жалованной Демидову грамотой, отлитая в 1727 г., также представляет интерес старины и хранится вместе со столом и прочими вещами в музее Демидовых, в Нижнем Тагиле, куда я в 9 часов вечера по железной дороге и направил свой путь.

IV

Через Уральские горы

Говорят, что по Уральской железной дороге ездит преимущественно деловой народ, т. е. служащие или торгующие в Приуральском крае. Действительно, путешественники здесь встречаются редко, хотя это одна из самых живописных дорог в России. Сначала по обе стороны пути видны леса, вспаханные поля и холмы, покрытые березой и елью, кое-где сверкают озера, но чем дальше, тем сильнее и резче начинает вступать в свои права горная природа. Вокруг все зелено, но уже кое-где заметны следы глины и плитняка и худосочные деревья, ютящиеся по холмам на каменистой почве, становятся длинными, тощими и, не выдерживая бури, тут же падают и лежат в оврагах, как трупы. Глядя на них, ожидаешь, что вот-вот прекратится сейчас и последняя зелень, омертвеет последняя былинка и потянется сплошная долина серого мертвого камня.

Но нет — перед глазами развертывается внезапно громадное поле, все усеянное синими, красными, белыми цветами, и где-нибудь блестит и вьется горная речка. То видишь почти под собою страшные овраги, за которыми далеко-далеко вырастают гигантские холмы, покрытые лесом, то внезапно встречаешь у самой дороги дикие стены разрубленной надвое скалы, в которую поезд проскальзывает как в ворота и мчится среди зловещих изуродованных камней, сажени в три или четыре ростом,— и снова, опять внезапно, выносится на необъятный простор, и снова вокруг все зелено, весело, девственно.

Большинство пассажиров нашего вагона, отъезжая вечером из Перми, просило взаимно друг друга разбудить их, когда начнется горный подъем; повсюду только и речи было, не проспать бы Чусовую! На всякий случай предупредили кондуктора.

Около двух часов ночи, когда забрезжил рассвет, меня разбудил мой случайный попутчик и проговорил, указывая в окошко:

— Поглядите!

Отсюда, еще не доезжая станции Чусовской, начиналась прекрасная панорама Урала.

Мы вышли на тормаз[11].

Было бледное серое утро, и утренний холодок бодрил и разгонял утомление. Страшная глушь, необозримая и безлюдная, но полная жизни, потому что среди стука и грохота поезда иногда можно было услышать пение птиц, потому что вокруг все было весело, зелено и красиво,— эта глушь раскинулась так широко, что не охватишь взглядом; с одной стороны возвышаются в беспорядке горные холмы, точно выглядывая друг изза друга, а с другой стороны зияет страшный овраг, поросший то травой, то кустарником, постепенно поднимающийся вдалеке и становящийся высокою горой, с лесною щетинистою вершиной; повсюду леса, леса и камни, и нигде незаметно признаков руки человеческой, кроме железнодорожного полотна; и с восторгом глядишь на эту девственную картину природы, и с изумлением любуешься человеческими трудами, этими пробитыми скалами, образующими целые коридоры. А поезд, поднимаясь в гору, идет медленно и осторожно, образуя собою все время дугу, то изгибаясь вправо, то влево, а в иных местах он изгибается почти в кольцо.

Станции здесь то и дело. Семь верст — и Ермак, еще восемь верст — и Архиповка... На ста верстах находится девять станций. Извилистость пути особенно заметна по станционному домику Ермак. Когда только что отъедешь от этой станции, то ее видно еще справа, затем, исчезнув на несколько минут, она показывается снова, но кажется уже не сзади поезда, а впереди него; еще минута — и станция исчезает. До такой степени извилист железнодорожный путь через Урал.

Относительно самого названия Урала существует два положения; во-первых, название производят от остяцкого слова *урр*, т. е. цепь гор; во-вторых, что кажется более достоверным, от татарского названия *Арал-тау*, которым обозначалась вся южная часть хребта и которое потом переделано русскими в Урал для обозначения такого хребта, который, в виде беспредельного

пояса, преграждает дорогу путешественникам. Это подтверждается и названием Аральского моря как места, где кончаются горы... Богатства Урала неисчерпаемы и разнообразны: здесь добываются железные руды, медь, свинец, даже никель с 1885 г., соль, уголь и сера, фарфоровая глина, аметист, изумруд, малахит, мрамор, платина и, наконец, золото; жильное золото открыто в 1745 г., но добыча его началась в 1754; рассыпное золото начали разрабатывать только с 1814. Всех богатств уральских не перечислишь.

Но вот, наконец, и граница. Мы подъехали к станции Европейской; еще несколько верст, и мы на другом континенте — в Азии. Это место (т. е. протяжение среди двух пограничных станций) считается самым высоким; это и есть перевал; до сих пор поезд шел, направляясь в гору, отсюда он постепенно пойдет под уклон.

Небольшая станционная постройка стоит, совершенно особняком, одиноко среди холмов и зелени. Горный воздух легок и чист; необыкновенная тишина и нелюдимость — все полно своеобразной прелести и какой-то непонятной торжественности... Подвигаясь вперед, мы проезжаем, наконец, на полном ходу географическую границу Азии и Европы. Несмотря на свою условность, это место вызывает некоторое движение среди пассажиров, даже, пожалуй, чуть уловимое волнение. Все выглядывают в окна, выходят на тормаз и так или иначе добиваются случая увидеть пограничные столбы, которыми, в подражание старине, на Сибирском тракте отмечен конец Европы и начало Азии. Это две небольшие решетчатые башенки, сложенные из рельсов и окрашенные в белую краску. С одной стороны на них четко и крупно написано: *Европа*, а с другой стороны — *Азия*. Оба столба стоят по бокам железнодорожной линии и, правда, вызывают в путнике какое-то неопределенное чувство, похожее не то на смущение, не то на радость.

Близ станции Кушва, верстах в двух, находится магнитная гора Благодать, знаменитая по богатству своей руды; названа она так в честь императрицы Анны Иоанновны, имя которой по-еврейски значит — благодать. У подошвы ее раскинулся громадный Кушвинский завод,

а на вершине стоит памятник-часовня. Существует предание, что вогул[12], по имени Степан Чумпин, открывший в 1735 г. магнитную руду и указавший ее русским, был за это принесен в жертву вогульским шайтанам своими соотечественниками и сожжен ими на вершине горы. За открытие русские вознаградили Чумпина при жизни и дали ему 24 р. 70 к., а в 1826 г. поставили на месте его казни памятник...

Часа через два поезд остановился у станции Тагил, знаменитого Демидовского гнезда, которое, благодаря сорокатысячному населению, заводам, шахтам, памятникам и школам, не только не уступает любому городу, но даже и превосходит многие, хотя Тагил — не больше как заводское селение.

V

Демидовы и Тагил

Кто не знает, кто не слыхал о Демидовых, простых тульских кузнецах, потомки которых располагают громадными миллионными средствами и носят титул князей Сан-Донато?[13]

Родоначальником этой фамилии был Никита Демидович Антуфьев, тульский кузнец, из крестьян. О первой встрече с царем Петром I, которая послужила началом его обширной деятельности, рассказывают следующие подробности.

Проездом через Тулу, Петр велел починить испортившийся пистолет, работы знаменитого оружейника Кухенрейтера. Когда кузнец (Демидов) исправил его и принес к царю, тот обратил внимание на великолепную работу и пожалел, что у него нет мастеров, чтобы делать такое оружие.

— И мы, царь, против немца постоим!— сказал Никита.

Царь уже не раз слышал эти ненавистные слова, это «закидаем шапками» от своих московских бояр, к тому

же он выпил анисовки, и его ретивое не стерпело: он ударил в лицо Демидова и закричал:

— Ты, дурак, сначала сделай, а потом хвались!

— А ты, царь, сначала узнай, а потом дерись!— ответил Никита и подал Петру сделанный им новый пистолет, нисколько не уступавший по работе заграничному.

Горячий царь смилостивился и извинился перед кузнецом*.

Как бы то ни было, но достоверно известно, что Никита вскоре после первой встречи с Петром доставил ему в Москву шесть отлично сделанных ружей и назначил плату по 1 р. 80 к. за каждое, тогда как до этого казна платила за них за границу по 12 и даже по 15 руб. за штуку. Это было во время шведской войны,— понятно, царь обрадовался, что отыскал такого диковинного кузнеца у себя на родине, поцеловал Никиту, подарил ему 100 руб. и сказал:

— Постарайся, Демидыч, распространить свою фабрику, я не оставлю тебя.

И Петр приказал отвести Демидову в 12 верстах от Тулы несколько десятин[15] земли. С этого и начинается деятельность будущего «Уральского владыки». Дальнейшая судьба его, в коротких словах, такова. Демидов не ограничился Тульским заводом, а стал просить у царя в аренду Уральские казенные заводы, которые и были ему отданы в 1702 г. за ничтожное вознаграждение. Здесь главным деятелем выступает уже не Никита, а старший сын его, Акинфий Демидов, сумевший в короткое время увеличить производительность заводов против казенного управления — раз в триста.

И богатство, и положение Демидовых начали расти с каждым годом. Будучи уже потомственным дворянином, Никита в 1715 г. нашел возможным преподнести родившемуся царевичу Петру Петровичу «на зубок», кроме драгоценностей и великолепных сибирских мехов, сто тысяч тогдашних рублей. Но русская пословица «от трудов праведных не наживешь палат каменных» нашла себе косвенное применение и в богатстве Деми-

---

* «Демидовы» — биографический очерк В. В. Огаркова[14].

довых, хотя к их услугам были всевозможные льготы и обеспеченный сбыт товара в казну. Им требовались «рабочие руки», но так как покупать крестьян или переселять их из внутренней России на Урал было вообще начетисто, то практиковался иной способ: заводы принимали к себе беглых каторжников и ссыльных, беглых крестьян, рекрутов и притесняемых раскольников; все эти бесправные люди навсегда закабалялись во власть Демидова. Чтоб не отвечать за них перед законом, их запирали, во время наездов ревизоров, в подземелье Невьянской башни и спускали туда воду из пруда... Таким образом своею смертью выручали беглые своих покровителей из неприятного положения. В этом же подземелье Акинфий впоследствии тайно чеканил монету, а с мастерами поступал так же, как и с беглыми, т. е. топил их во избежание доноса.

По поводу «демидовской» монеты существует рассказ о том, как однажды Акинфий, играя в карты за одним столом с императрицей Анной Иоанновной, рассчитывался за проигрыш новенькими монетами.

— Моей или твоей работы, Никитич?— спросила партнера с двусмысленною улыбкой императрица.

— Мы все твои, матушка-государыня,— уклончиво, но ловко ответил Демидов,— и я твой, и все мое — твое!*

Дальнейшие потомки, благополучно продолжая блестящее дело отцов, богатели, входили в знать; один из них даже породнился с Наполеоном I, женившись на его племяннице; иные прославились своим самодурством, иные обширною благотворительностью; но как бы то ни было, Демидовы в лице своих родоначальников оказали громадные услуги русскому горному делу.

Когда я вышел из вокзала, был еще только полдень. По случаю воскресного дня заводское население не работало и группами стояло на улице. Извозчик доставил меня в гостиницу, на центральную площадь, где за 75 коп. мне дали обширный номер и за 25 коп. накормили досыта.

* Биографический очерк Огаркова.

Широко раскинувшееся селение изобилует хорошими постройками; здесь есть несколько храмов, единоверческая церковь[16], даже старообрядческая часовня, есть училища, приюты, богадельня, обширный музей, заводский клуб, кроме того, поставлены два памятника: один Николаю Никитичу Демидову, правнуку родоначальника, другой Карамзину, главноуправляющему заводами, и строится еще на средства рабочих и жителей памятник императору Александру II, в честь освобождения крестьян.

Неизвестно, когда достроится этот памятник, но, вероятно, не скоро, потому что не собраны еще деньги, а самый способ сбора довольно оригинален. По рассказам, цена памятника около 9 тысяч рублей; подписных денег не хватило; не желая, однако, прибегать ни к какой помощи, а желая достроить его на общественные, народные суммы, жители делают отчисления из доходов. В прошлом году* за аренду кабаков они выручили 8000 рублей и одну тысячу отчислили на памятник. В настоящее время готова только каменная кладка фундамента и барьера, а постройка начата с 1891 г. Как бы ни было, но желание «осилить» во что бы то ни стало «собственными» средствами говорит только об искренности народного намерения.

Мне удалось видеть проект этого памятника. Это мраморный постамент, заканчивающийся шпилем пирамидальной формы; с лицевой стороны, посредине, будет мраморный барельеф императора и надпись: «Людие мои, что сотворих вам, аще за добро платите злом»[17]; выше надписи поместится образ Спасителя и царская корона; на боковых сторонах будет объяснено значение памятника и дата, когда Александр II приезжал в Тагил и спускался в шахту**.

Аллегорические памятники русскому народу не по вкусу, и как там ни хитри, каких ни наставь фигур,

---

* Рассказ относится к 1894 г.

** Интересуясь шахтою, император опускался в нее на несколько лестниц. В числе заводских достопримечательностей хранится рабочая куртка, в которую он был одет.

народ объяснит их по-своему, попросту, и выйдет из этого такой курьез, что даже не ожидаешь. Именно это и случилось с демидовским памятником, который стоит на другой площади, по пути к шахтам. Благодаря присутствию на нем женской фигуры, никто не может объяснить настоящего значения ее, и говорят по-разному. Кто называет ее богиней, кто судьбой, кто счастьем, а рабочие объясняют проще:

— Это жена Демидова!

Памятник может считаться роскошным. Из-за чугунной решетки поднимается мраморный пьедестал, на котором находятся две фигуры: коленопреклоненная женщина в короне и древнегреческом костюме; ей протягивает руку Демидов, одетый в придворный кафтан, с орденами и лентой. Эта женщина и есть, по народной молве, жена хозяина, которой тот оставляет наследство. По рассказам, только вряд ли достоверным, демидовскую руку однажды отвинтили и пропили, так как фигура состоит будто бы из составных частей... Внизу, по углам пьедестала, расположены четыре группы: та же женщина и возле нее мальчик с книжкой; этим изображается просвещение Демидова; на второй группе юноша-Демидов высыпает к ногам женщины плоды из рога изобилия; на третьей — Демидов является в военной форме пред вооруженной женщиной как защитник отечества и, наконец, на четвертой — Демидов-старик как покровитель науки, художества и торговли.

Памятник Андрею Николаевичу Карамзину[18] сделан из чугуна с орлами и барельефами по бокам и с воинскою каской наверху. О покойном управляющем идет добрая молва, и население отзывается о нем приблизительно в таких выражениях:

— Хороший был барин... Больше такого не будет... Под Севастополем голову сложил, царствие ему небесное!..

Такая молва не хуже любого памятника.

Местный музей занимает пять больших комнат; здесь собраны коллекции уральских минералов, медной и свинцовой руды, образцы железа, мрамора, малахита,

золотых песков и т. п. Здесь же находятся куски асбеста (горный лен, волокнистый минерал), из которого приготовляют несгораемые ткани, картон и проч. Никита Демидов в 1722 г. представил Петру I образчики полотна из этого вещества, и хотя теперь разработка асбеста оставлена, но, введенная Демидовым в значительных размерах, она долго сохранялась в Сибири, где из горного льна приготовлялись колпаки, кошельки, перчатки и шнурки; еще знаменитый Паллас[19] видел работы, произведенные Акинфием в Шелковой горе, и нашел в Невьянске старуху, которая умела ткать полотно, сучить нитки и вязать перчатки из асбеста. Здесь же размещены всевозможные модели машин: для промывки золота и платины, для плавления чугуна и проч. Из старинных вещей обращают на себя внимание громадные часы здешней работы 1775 г., деревянный шкаф, привезенный в 1766 г., медный самовар и чайник — современники «тульских кузнецов» и затем некоторые предметы, о которых я говорил ранее и которые были отвезены временно на Пермскую выставку (гл. III), т. е. медный стол, портрет и чугунная доска с жалованною грамотой. Впрочем, интересна еще большая масляная картина, очень давняя, изображающая Тагил, где женщины одеты в боярские костюмы, а мужчины — в цветные фраки, цилиндры и белые панталоны. В числе «раритетов», добывавшихся невьянскими владельцами, были куски руды, обладающие свойством магнитов; большие магниты довольно редки, а между тем у Акинфия был магнит в 13 фунтов[20], державший пудовую пушку, и два громадных магнита кубической формы были пожертвованы в тагильскую церковь для престола, равных которым, вероятно, не найдется в целом свете. В музее помещен довольно крупный магнит, который держит на воздухе двухпудовую гирю и чашу в 35 фунтов. Остальная часть музея наполнена образцами заводского производства, среди которых встречаются толстые металлические прутья, завязанные (в холодном состоянии) прихотливыми узлами; но это уже виртуозность и к производству отношения почти не имеет, равно

как и самовар, выбитый из цельного листа железа, на котором нет ни спаек, ни заклепок.

Таков в общих словах Тагильский музей.

VI

Подземелье

Чтобы проникнуть в шахту, нужно иметь особое разрешение заводского начальства. День был праздничный, работы не производилось, и, рыская по заводу в течение нескольких часов, я нигде не мог застать того, от кого зависело выдать мне пропуск; даже благодаря празднику не от кого было добиться, кто именно заведует этим. Ни инженеров, ни управляющих не заставал я дома, а рабочие, единственные люди, которые мне попадались, направляли меня к какому-то «Смарагдычу», квартиру которого я, наконец, отыскал, но хозяин оказался тоже в отлучке.

В полдень следующего дня я должен был уже покинуть Тагил и, может быть, уехал бы, не побывавши в шахтах, если б не выручил меня рабочий. Указывая на заводский клуб, он сказал:

— Идите. Все они здесь до единого!

Действительно, в клубе находилась вся местная интеллигенция: чествовали старого управляющего, который покидал свой пост, и, разумеется, все сослуживцы собрались на проводы. Здесь, при первом же заявлении о моей просьбе, заведующий медными рудниками любезно разрешил мне осмотр и предложил явиться к шахте в 4 часа утра.

Я уже слышал кое-что об этом подземелье, глубиною в 113 сажен, и невольно воображал себе страшное удушье, тьму, и под этим впечатлением провел остаток вечера, бесцельно бродя по улицам.

В 3 часа утра я уже был на ногах. Утро стояло пасмурное, сырое, и моросил мелкий дождь. Было свежо.

Проехав все селение и спустившись к подошве Лысой горы, где на громадном пространстве раскинуты

всевозможные заводские постройки, я скоро добрался до конторы, но так как приехал я раньше, чем следовало, и контора была заперта, то минут с 20 мне пришлось просидеть в экипаже и смотреть, как с разных концов завода собираются к шахтам рабочие.

Все они были одеты в пеньковые куртки серо-желтого цвета, в такие же штаны, в высокие побуревшие сапоги и подпоясаны ремнями; если б у каждого не висел за поясом фонарик и рукавицы, а на головах были бы надеты не картузы, а серые бескозырные шапки, то рабочие походили бы на арестантов. Все они были с бледными, изможденными лицами, без живых красок, и среди серого утра и серых костюмов казались тоже как будто серыми и вялыми. Не замечая ни одного свежего лица, ни одной богатырской груди, свойственной рабочему человеку, я спросил, обратясь вообще ко всей толпе, молчаливо стоявшей вдоль стен, трудна ли их работа в шахте.

— Кабы не трудна,— отвечали рабочие,— разве были бы мы такие!

И все они с видимым безучастием поглядели друг другу в чахлые, угрюмые лица как на нечто, давно известное и неизбежное.

Не вспомню, пробил ли звонок, или штейгер[21] («штыгирь» — как называли рабочие своего набольшего) подал сигнал, но только вся толпа начала зажигать свечи в своих фонариках и мало-помалу исчезать в низкую дверь шахтенной постройки. Кое-кто, в ожидании очереди, докуривал трубку, кто отдыхал на бревнах, кто лениво брел и надевал рукавицы.

Когда я снова вошел в контору, сторож уже проснулся и разводил самовар.

— А, вам на шахту?— добродушно приветствовал он меня, кивая головой. — Можно, можно, сударь: об вас уже есть и распоряжение. Сейчас смотритель придет, он вас и проводит. Обождите минуточку.

Продрогнув на холоде, я с удовольствием присел у окошка в теплой комнате, а сторож между тем, приговаривая что-то вполголоса, приносил и складывал возле меня одежду.

— Пока что,— обратился он ко мне,— переоденьтесь в наши мундиры, а то грязно там... живой нитки не останется.

Он подал мне такую же серо-желтую куртку и панталоны, какие я видел на рабочих, и спросил, глядя на мои высокие охотничьи сапоги:

— Не промокают?.. А то я и сапоги могу дать.

Я стал одеваться.

— Вот и не так!— остановил меня сторож.— Нужно спервоначалу все с себя снять, а потом надеть куртку, а не то чтобы прямо на одежду.

Я послушался и снял пиджак.

И опять этого мало!— не унимался сторож. — Все нужно снять, до самой рубашки, чтоб ничего не было!

Мне было слишком холодно, и я не послушался.

— Жарко будет! Жалеть станете!— упрекнул меня в последний раз сторож и помог мне одеться.

— А это вот вам ремень, потуже следует затянуться... А это вот фонарик за пояс да лишнюю свечку в карман возьмите, в запас. Потом рукавицы надобно захватить, да картуз сейчас по голове подберу...

Одетый в заводский «мундир», как выражался сторож, я взглянул на себя в зеркало. Толстый, нескладный картуз, тяжелый и несколько влажный, огромные кожаные рукавицы, тоже влажные и грязные, помятая рубаха, в рыжих пятнах, серые узкие панталоны, заправленные в голенища, черный фонарик за поясом — делали меня почти неузнаваемым для самого себя. Взглянув на меня, даже сторож, улыбаясь, промолвил:

— Вот теперь, значит, по-нашему! Теперь можно и в шахту, а то нешто настоящая одежа здесь выдержит!

В контору вошел смотритель, молодой человек, поздоровался со мною и, видя, что я уже в «мундире», быстро переоделся в такую же куртку. Мы зажгли фонари, надели рукавицы и вышли на двор. Если я продрог в пиджаке и пальто, то в бумажной рубахе мне было уже вовсе холодно.

Идти пришлось недалеко. Провожатый ввел меня в какое-то крытое помещение, стоявшее среди двора, затем мы спустились по широкой небольшой лестнице

ниже, где было уже темно,— только едва-едва проникал дневной свет, мешаясь со светом наших двух фонарей.

— Теперь спускайтесь за мною,— сказал мне мой спутник. — Держитесь крепче руками и берегите голову.

У наших ног чернела квадратная яма, приблизительно в аршин[22] шириной, в которую как раз могла пройти человеческая фигура. В стену около ямы были вделаны две или три скобки, чтобы можно было за них ухватиться до начала спуска.

Мой провожатый ловко взялся руками за первую скобку и спустил ноги в яму, потом перехватился за нижнюю скобку — и скрылся в подземелье. Подражая ему, я сделал то же самое. Ноги мои уперлись во что-то твердое; это была ступенька лестницы. Сначала я оказался по пояс в яме, а затем, переступив следующий порог, скрылся, как и мой провожатый, от последнего дневного света в сырой, темной яме, где было холодно, грязно и тесно. Перебирая мало-помалу ступеньки руками и ногами, мы скоро остановились на площадке.

— Осторожнее!— услышал я знакомый голос. — Беритесь опять за скобку.

Осветив площадку фонарем, я увидел ниже точно такое же отверстие, такие же скобки в стене и снова погрузился в черную яму, сначала по пояс, затем и с головой.

Через каждые 3—4 минуты встречались подобные площадки и скобки. Куда я спускался и долго ли нужно мне было спускаться, я не имел об этом ни малейшего понятия.

Лестницы, по которым я слезал, представляют собою самые обыкновенные, всем известные лестницы — деревянные, с узкими ступеньками, какие подставляются обыкновенно к домам, чтобы забраться на крышу. Лестницы были не длинные: ступеней 30—40, а затем площадка, с новою ямой и с новой лестницей. Все перекладины были сырые, на многих комками лежала скользкая жидкая грязь. Хватаясь руками, я промочил уже насквозь свои рукавицы, о которых сначала думал,

что они лишние. Иногда пролезать в отверстие было довольно трудно, чтобы не коснуться спиной или головой о деревянные срубы, покрытые, как и ступеньки, влагой, грязью и, может быть, даже плесенью.

Чем дальше мы опускались, тем становилось мне жарче, и в то же время пронизывал холодок промоченную спину и колени. Нигде не слышалось ни голоса, ни звука, кроме шарканья наших ног, нигде не виделось ни света, ни простора, только и сверкали от фонаря две мокрые ступени лестницы, за которые хватался я устававшими руками,— все остальное было сплошным мраком. Откуда-то капала вода на спину и на лицо, откуда-то продувало ветром.

С непривычки я начал уставать и делал на площадках краткие передышки. Проходили минуты за минутами, за лестницей следовала лестница, и, казалось, не будет конца этому спуску, а между тем у меня дрожали уже руки и ноги, пот градом катился по щекам, а спина и колени были в жидкой грязи и кожаные рукавицы промокли тоже насквозь.

— Скоро ли доберемся?— спросил я, наконец, своего провожатого, который ответил мне откуда-то снизу глухим, далеким голосом:

— Еще лестниц пять осталось!

Продолжая спускаться среди мрака и какого-то неопределенного шума, точно вокруг нас или над нами бежала масса воды, я очутился, наконец, уже не на площадке с дальнейшим черным отверстием, а на твердой почве.

VII

Рудники.—Добыча малахита

Мне несколько изменяет память, и я не могу сказать теперь, сейчас ли начался отсюда коридор, или мы подвергались еще каким-либо переходам и мытарствам. Помню только, что я стоял среди мутной лужи, так что ступни моей не было видно, и с любопытством озирался кругом. Помню, что это был узкий и низкий

коридор, где нужно было стоять, немного согнувшись, и где с трудом возможно разойтись со встречным человеком. Стены мрачного коридора, а также и потолок были высечены из сплошной каменной глыбы. Это и были шахты.

Глядя на них, мне припомнилось, как в детстве я бродил с зажженною восковою свечкой по подземелью какого-то монастыря. Это был такой же узкий и бесконечный коридор, только значительно выше, так что монах в скуфейке[23] мог двигаться свободно, а здесь приходилось сгибаться, чтоб не удариться головою о бревна, подведенные под потолок. Там пахло елеем и ладаном, а здесь — сыростью, гнилью и чем-то еще, чего я уже не умею назвать; может быть, это были испарения от камня или металла, может быть, мне это и казалось только — не знаю. Там, в монастыре, указывая на двери, мне говорил проводник, что здесь вот жил схимник такой-то, здесь отец такой-то... А в шахте по коридору то и дело пробегали рабочие с узкими маленькими тачками, наполненными кусками руды; здесь, на глубине 100 сажен, ежедневно работало 500 человек, безвыходно по восьми часов в сутки, и не по идее, не ради души, а просто — из-за насущного хлеба.

Освещая дорогу фонарями, которые уже вынули изза пояса и держали в руках, мы двинулись по коридору вперед. В иных местах я шел, немного лишь нагнув голову, но преимущественно приходилось идти с согнутою спиною и все время по воде, которая булькала и брызгала под нашими шагами. Нередко вдали показывался огонек, и, приближаясь к нему, мы слышали окрик и прижимались к стене, чтобы пропустить мимо себя рабочего с тачкой.

Я покорно шел за своим проводником, не зная ни пути, ни направления, и только изредка, перестав уже стесняться сырости, садился на мокрое бревно, если оно попадалось нам по дороге, и давал немного отдохнуть спине; а затем опять, сильно сгорбившись, продолжал путь. Не знаю, сколько времени шли мы по коридору; иногда попадалось нам похожее на пещеру углубление в стене, где добывают руду, взрывая гору

динамитом или рубя топорами; эти обломки подбирают лопатами, ссыпают в тачки и увозят на «рудничий двор», где, посредством машины, добыча извлекается из недр на поверхность земли.

Здесь добывается медный колчедан, бурый железняк с содержанием меди, тальковые глины, оруднелые сланцы, малахит, медное индиго, шлаковатая (очень богатая) медная руда, магнитный железняк и проч. Всего разной руды около трех миллионов пудов в год.

Мы были уже довольно глубоко под землею. Не вспомню, в каком именно месте, я был удивлен шумом и спросил, глядя наверх, где что-то шумело и как будто катилось:

— Выше нас тоже работают?

— Нет. Это речка Рудянка протекает над нами.

Шахта, где мы находились, носит название Авроринской. Она ниже поверхности земли на 100 сажен, но нам предстояло опуститься еще глубже, в Северную шахту, глубина которой 113 сажен. Если нашу московскую Ивановскую колокольню считают вышиной что-то около 38 сажен и взобраться на нее считается чуть ли не подвигом, то выбраться из шахты было втрое труднее. Только теперь, найдя сравнительные величины, я понял, на какой страшной глубине я находился, если Кёльнский собор имеет 73 саж., высочайшая египетская пирамида Хеопса имеет 64 саж., Исаакиевский собор около 59 саж., Петропавловский шпиц в Петербурге 65 саж. и только парижская башня Эйфеля возвышается на 143 саж. Но там, по крайней мере, имеются, не говоря уже о подъемных машинах, твердые, удобные ступени, а здесь не угодно ли взбираться по деревянным кровельным лестницам, осклизлым и грязным, цепляясь за мокрые перекладины руками! Каково это должно отзываться на людях, работающих в подземелье восемь часов?..

Когда, усталый, с разболевшеюся от согнутого положения спиной, весь промокший и грязный, я сел на мокрое бревно в Авроринской шахте и, поставив на колени фонарь, стал записывать в книжку свои впечатления, руки у меня отказывались работать и я успел

записать всего лишь несколько строк. Передо мною тем временем открылась новая картина. Откуда-то сверху на громадной толстой цепи спустилась железная бадья, величиной с хорошую бочку, а от земли отделилась другая, точно такая же огромная бадья, до краев наполненная рудой, и, гремя цепями, тяжело поползла кверху и скрылась во мраке. Между тем рабочие все подвозили тачки, ссыпали руду в порожнюю бадью, и, когда наполнили ее, она точно так же со скрипом и грохотом тяжело поползла кверху, а на ее место опустилась вторая — порожняя... Таким образом поступает на свет божий металл из недр земли, и невольно вспоминаются при этом слова Мефистофеля:

«Люди гибнут за металл...»

Несколько отдохнув, мы направились дальше. Потянулись опять мрачные бесконечные коридоры, но они стали еще ниже, так что приходилось не только сгибать спину, но даже в иных местах пробираться чуть не ползком, нередко ударяясь в темноте головой о деревянные бревенчатые оклады и подхваты шахты, и только благодаря толстому картузу не было больно, а в легкой шелковой фуражке, в которой я приехал в контору, можно было бы до крови разбить себе голову. Тут я снова оценил предусмотрительность, с какою исполнен весь шахтенный «мундир».

Северная шахта находится, как я уже сказал, на глубине 113 сажен. Когда мы вошли сюда, рабочие занимались добычей малахита. Это была высокая пещера, освещенная двумя-тремя свечками, воткнутыми в пробоины. Задняя серая стена, избитая и изрубленная, сверкала мелкими, словно пыль, блестками, и местами по ней зелеными пятнами проглядывал малахит. Рабочие, сильно размахнувшись короткою киркой, вонзали острие в стену и опять вытаскивали и опять вонзали, пока к ногам их не падал кусок зеленого камня. Мелкие куски сбирались в общий мешок, а более крупные обломки откладывались отдельно, потому что они идут на разные изделия, а мелочь и россыпь продается для выделки зеленой краски.

За малахит, кроме обычной поденной платы, дается премия — по рублю с пуда. В общем ежедневный заработок заводского рудокопа выражается от 80 коп. до 1 руб. 10 коп., но иные добывают 2 и даже 3 руб. в сутки.

— Теперь отдохните,— сказал мне мой провожатый, который, во время всей нашей прогулки по шахтам, отмечал в тетради не явившихся рабочих.— Назад идти будет труднее... отдохните.

Пока я сидел на мокром бревне, рабочие выломали мне из скалы кусок малахита и просили взять на память. Я хотел дать им за это денег, но они отказались и еще раз подтвердили свой отказ.

— На память, мол... Может, когда, Бог даст, вспомнить придется.

Теперь этот кусок лежит передо мною на столе, и часто, глядя на него, мне вспоминается мрачное подземелье, куда не проникал никогда луч дневного света, вспоминаются глухие удары молотков и глухое падение разбитого камня на каменный пол, вспоминаются вялые, изможденные лица рабочих и их простые, добродушные слова: «На память, мол...»

Минут через десять мы отправились дальше. Опять потянулись коридоры, опять заныла согнутая спина и снова пришлось то нагибаться, то подползать под низкие бревенчатые рамы и шагать по грязи и лужам. Наконец, явилась возможность выпрямиться во весь рост: мы подошли к лестнице.

— Отдохните и полезем!

Я с удовольствием разогнул спину, немного постоял, отдохнул и, следуя за своим спутником, взялся за осклизлую перекладину.

Опять начались бесконечные лестницы, опять те же узкие площадки, та же жидкая грязь, по которой скользили руки и ноги; только подниматься было значительно труднее, нежели опускаться. Там были и свежие силы, и сухая куртка, тогда как здесь приходилось усиленнее напрягать ручные мускулы и стесняться в движении, потому что одежда, насквозь пропитанная

влагой и грязью, прилипала к телу и после трех часов ходьбы с согнутою спиной чувствовалось изнеможение.

Усталость возрастала буквально с каждою минутой; к тому же от усиленного дыхания пересохло в горле и хотелось воды. Руки еле держались за скользкие перекладины, ноги еле переступали. Отдыхая чуть не на каждой площадке и медленно приближаясь к выходу, мы взбирались по лестницам уже около получаса. Я задыхался.

— Долго еще?

— Пустяки!— небрежно отвечал мне спутник.— Сажен тридцать осталось!

По-здешнему, 30 сажен — пустяки, а для непривычного москвича — это целая Ивановская колокольня!

Я помню, когда оставалась уже одна, последняя лестница и сверху падал уже бледный луч света, я изнемог до такой степени, что отдыхал на каждой перекладине и еле держался руками; в эту минуту за глоток свежей воды я отдал бы, кажется, половину жизни! Вот остается уже несколько аршин, несколько перекладин... Мой провожатый уже вылез и глядит на меня сверху, с твердой почвы, но руки мои перестают работать. Я хватаюсь за ступень, держусь за нее, но подняться уже не имею силы; дыхание мое прерывается; того и гляди, что опустятся руки, подкосятся ноги — и я полечу обратно по лестнице...

— С непривычки тяжело!— слышу я возле себя знакомый голос. — Ну, еще немножко!.. Еще!.. Еще!..

Я бессознательно лезу вперед, цепляюсь, словно раненый, за перекладины, и, наконец, меня берет за руку крепкая рука провожатого и извлекает из ямы.

Несколько секунд я сидел на полу, не имея силы подняться, потом, отдышавшись, нетвердыми шагами последовал за своим спутником и с трудом поднялся на какой-нибудь десяток порожков широкой лестницы и вышел на заводский двор, где ярко светило солнце, где дышалось снова легко и свободно. Вряд ли когда-нибудь я был так рад дневному свету!

Свежий воздух казался мне легким и ароматным, а голубое небо, зеленая трава на горе и белые облака —

казались необыкновенно гармоничною, необыкновенно прекрасною картиной!

Было уже 8 часов, когда я вернулся в контору,— следовательно, по шахтам мы бродили часа четыре. Сторож с добродушною улыбкой встретил нас на крыльце и спросил, прищуривая глаз:

— Чайку холодненького теперь, пожалуй, недурно?

Не дожидаясь согласия, он вынес мне стакан жидкого остывшего чаю, который я выпил почти залпом, и только тогда мог проговорить первое слово.

— Говорил, жарко будет!— упрекнул меня сторож.— А еще раздеваться не хотели! Эна, какая грязь — нитки живой не осталось!

Он стащил с меня почерневшую от грязи и воды заводскую куртку, подал мне умыться, помог надеть пиджак и пальто и, поднеся еще стакан холодного чаю, хотел проводить меня до извозчика, но, вдруг что-то вспомнив, ударил себя ладонью по лбу.

— Ах, ты, батюшки! Расписаться-то забыл подать!.. У нас ведь это делается до спуска... иначе нельзя. Сначала подписку дай, а потом уж иди... потому что — вдруг какое несчастье?

Может быть, я и ошибаюсь, но только из его дальнейших слов я понял, что при конторе имеется книга, где дается подписка, что, опускаясь в шахту, я не буду винить никого, если, в случае обвала или какого-нибудь несчастья, мне не удастся выйти оттуда живым.

Не читая текста, я расписался в книге или на каком-то листе и поспешил домой, чтобы отдохнуть и переодеться, так как на мне, по выражению сторожа, не оставалось ни одной живой нитки; к тому же в 12 часов дня отходил из Тагила мой поезд.

VIII

Невьянская башня.—Легенды

Я направлялся в Екатеринбург. В то время я еще ничего не знал о Невьянской башне и слышал лишь

намеки на какие-то страшные легенды; но что это были за легенды и почему они могли сложиться, представлялось мне неразрешимым вопросом, потому что никто не хотел или не мог удовлетворить моего любопытства.

— Чем знаменита Невьянская башня?— спрашивал я у попутчиков.

— Да ничем!— отвечали мне просто.

— Я слышал, будто в народе ходят про нее какие-то страшные легенды.

— Никаких легенд не ходит!

Тем не менее я слышал, что легенды есть, и мне хотелось непременно дознаться, какие и по каким причинам они возникли; но к кому я ни обращался, ответы были одинаковы, что башня ничем не знаменита и что легенд про нее нет.

Попутная «интеллигенция» оказывалась в этом вопросе несостоятельною. Тогда я обратился к мужичкам, надеясь от них добиться правды. Поезд приближался уже к Невьянску, и спросить про тамошнюю башню было как раз кстати. Я подсел сначала к старику, на вид добродушному и простоватому, и задал ему вопрос о легендах.

— Мало ли чего говорят!— ответил он мне.

— А все-таки что говорят?

— Да так... ничего не стоит!

— Ну, про что, однако? Чудеса, что ли, там какие бывают?

Старик нехотя махнул рукой и проговорил.

— Так... бабьи сказки!..

Но как я ни допытывался, ничего узнать от него не мог. Он твердо стоял на своем, называя все пустяками и сказками. Однако мне было уже ясно, что легенды существуют, и это меня заинтересовало еще более. Не предвидя от упрямого старика никакого толка, я перешел в противоположный угол вагона и обратился к другому, молодому человеку, с виду похожему на артельщика.

— Действительно... говорят. Только это все вздор!— отвечал и этот, умалчивая о самых рассказах.

— Рассказывают что-то страшное,— начал было я, надеясь вызвать на разговор своего попутчика, но тот перебил меня возражением.

— Это нужно еще доказать!

— Да что доказывать-то?

— А вот про что болтают.

— Я не знаю, что болтают...

— И знать незачем! Пустяки одни! Говорю, сначала доказать надо!

Это становилось, наконец, крайне любопытно. Что за тайна? Что за рассказы, о которых никто не хочет сказать даже слова?.. Не было уже сомнения, что легенды ходят в народе, но каковы они? На какой почве возникли, по каким причинам сложились?

Никто не давал мне ответа.

Между тем мы миновали уже станцию Невьянск, где тот же старик и тот же артельщик указали мне в окошко на гору и охотно, даже без моих расспросов, объяснили, что здесь был Демидовский завод и каменная башня, которая теперь служит каланчой, чтобы наблюдать за пожарами.

— Страшные слухи-то про нее какие ходят, вы так мне и не скажете?— спросил я, надеясь, что теперь они разговорятся.

Но старик отвечал по-прежнему, что все это «бабьи сказки», а артельщик настаивал на своем и говорил, что «это еще доказать нужно».

Так я и не добился до легенды.

По разным сведениям, собранным и прочитанным, я впоследствии очень заинтересовался Невьянском, и не столько заводами, сколько его знаменитою башней.

Оказывается, что Петр I, жалуя Никите Демидову Невьянские заводы, дал ему и право наказывать людей, но с тем, чтобы он не навел на себя «правых слез и обидного воздыхания, что перед Господом — грех непростительный»...

Я уже описывал, как отнеслись Демидовы к этому «праву». Никита построил каменный дом, замечательный в акустическом отношении: все говорившееся в доме было слышно хозяину, и виновных в непочтении

постигала страшная участь. Акинфий построил башню, еще более знаменитую, высотой в 25 сажен, с потайными ходами и подземельями, где пытали подозреваемых, наказывали виновных и где потоплялись «беглые» во время ревизий. Эта же башня служила местом чеканки фальшивой монеты. По преданиям, здесь «своим судом» замуровывали людей и держали их в колодках и на цепях, и немало было пролито здесь «правых слез», о которых говорил Петр, и немало слышалось «обидных воздыханий»...

По словам Аф. Щокатова*[24], близ колокольни (башни) поставлен чугунный столб, который, «как сказывают, назначен был для статуи господина статского советника Акинфия Никитича Демидова».

Может быть, в связи с этим столбом для статуи и с жестокостями в башне над рабочими возникли страшные легенды, реальность которых, конечно, «еще доказать нужно», но возможность их возникновения становится понятною и доказывать ее нечего. Тиранство, фальшивые монеты и уготованный пьедестал для собственного бюста — с одной стороны, и молчаливая гибель людей, угнетенных и бесправных,— с другой, понятно, могли побудить народную фантазию к созданию «бабьих сказок», наверно искренних, задушевных и карательных для грубого насилия, не щадящего ни права человеческого, ни жизни беззащитных людей, во имя корысти и тщеславия.

Невдалеке от Невьянска существует местечко, называемое «Веселые горы». По рассказам моих попутчиков, здесь ежегодно, около 29 июня, собираются со всего округа раскольники всех толков[25]; иные приходят верст за 200 для поклонения могилам своих святых. Таких могил семь, одна от другой на расстоянии около версты, причем каждый «толк» молится отдельно. Молебствия на каждой могиле продолжаются по одному дню,— следовательно, на семь могил требуется ровно неделя. Здесь читают акафисты и проповеди, а раскольники иного «толка» торгуют в это время съестными

* Географический словарь Российского государства. 1805.

припасами, поют песни и даже будто бы слегка опохмеляются. На следующий день, у новой могилы, «толк» меняется, и те, кто пели и веселились, идут на молитву, а кто молился, идет петь, пить и торговать. В старину, во время гонения, эти горы были убежищем для раскольников; отсюда и получились могилы почетных «старцев», которых, считая за святых, нынешние раскольники поминают за упокой... Имен их я не запомнил, но, кажется, наибольшею популярностью пользуются: иконописец Григорий, отец Павел, отец Максим, отец Герман и еще кто-то...

Слушая этот рассказ, мне не хотелось верить в его правдоподобность — до такой степени дико и несообразно это чередование молитвы с песнями, проповеди с торгашеством, акафиста с попойкой! Но, вслушавшись в разговор, мне подтвердил это русский священник, сидевший сзади нас, и сказал, что, к сожалению, нечто подобное случается еще и до сих пор. То же самое подтвердил и другой сосед, оказавшийся учителем.

От них я кое-что узнал, наконец, и о легендах Невьянской башни. Благодаря башенным часам, отбивавшим на колоколах половины и четверти, благодаря замечательной акустике в доме, казавшейся народу чуть ли не волшебством, благодаря, наконец, безнравственности, могуществу и жестокостям «уральских владык», моривших людей голодом в подземелье и пытками и потоплявших водой, сложились страшные рассказы о привидениях, которые бродят по ночам, плачут и передают о себе и о своих мучителях ужасающие подробности.

Только этими сведениями и пришлось ограничиться, но это было уже без того понятно. Ни один рассказ, чисто народного характера, с типичными положениями, возбуждающими фантазию, с его простотой и задушевностью, так и не дошел до меня...

Вскоре мы подъехали к Екатеринбургу, который уральцы называют — воротами в Сибирь. Поезд остановился; я вышел.

IX

Город Екатеринбург.— Гранильная фабрика

Город Екатеринбург возник по повелению Петра I, который, видя рудные богатства края, поручил генералу Геннину[26] основать на реке Исети железоделательный завод. Для защиты от башкирских набегов здесь же построен был (с 1723 по 1726 г.) укрепленный город и проложен Сибирский тракт. На монетном дворе, открытом в 1735 г., было выделано в первый же год медной монеты на 70 000 рублей, а в 1861 г.— более чем на два миллиона. В настоящее время монетного двора уже не существует.

Первое, что попадается на глаза еще на вокзале,— это витрина со всевозможными изделиями из камней: малахитовые шкатулки, пресс-папье, мраморные вазы, брелоки из аметистов, кольца, булавки, серьги и т. п. По городу тоже чаще всего встречаются вывески «резчика печатей» и магазины каменных вещей, топазов, сердоликов и яшм.

По внешности Екатеринбург — лучший из всех уральских городов. Его чистота и красивые здания, обилие общественных учреждений, богатые магазины и сады — все производит на путника отрадное впечатление. Население здесь необыкновенно разнообразное по нации, по состоянию и по религии; о последнем можно судить по церквам: кроме собора и православных храмов, здесь есть единоверческие церкви, роскошные и богатые, есть немецкая церковь, польский костел, еврейский молитвенный дом и в недалеком будущем построится мечеть.

Самым интересным, бесспорно, должна считаться для туриста Императорская гранильная фабрика, где изящество и богатство соединяются в нечто целое. К сожалению, для большинства любителей и знатоков произведения этой художественной мастерской, может быть, единственной в России, остаются неизвестными и даже неслыханными. Работы гранильной фабрики — верх изящества! Много на Урале существует всяких

мастерских, которые вырабатывают красивые, изящные вещи; но если сравнить, не говоря уж о большем, гладкое яшмовое яичко, величиною с крыжовник, то вы увидите страшную разницу между кустарным производством и работой гранильной фабрики. Если б ее произведения появлялись на выставках или имели бы доступ в частные коллекции, где всякий желающий осматривал бы их и любовался бы ими, то существование на Руси такой мастерской имело бы полезное и серьезное общественное значение.

Когда я вошел и получил на осмотр дозволение, меня повели сначала туда, где производится черная работа, т. е. распилка камней. Ничего шумного, ничего грандиозного здесь не увидит и не узнает зритель. Он пройдет мимо машин, мимо всех инструментов и, пожалуй, не обратит внимания на тот упорный и медленный труд, с которым сопряжена эта кропотливая работа, и только потом, когда перед ним, вместо виденных серых и мокрых каменных глыб, предстанет вдруг роскошная ваза розового или оливкового цвета, изящно отшлифованная, узорчатая, исполненная по прекрасному рисунку,— зритель невольно залюбуется ею и невольно вспомнит те серые глыбы, из которых возникла эта роскошная вещь.

Со страшною медлительностью, с необыкновенною кропотливостью происходит здесь превращение этих глыб в изящные изделия. Остановившись перед громадною яшмовой чашей, в два аршина диаметром и в $2^1/_2$ арш. ростом, я поинтересовался узнать, сколько требуется времени, т. е. месяц, полгода или, наконец, год, чтобы сработать такую чашу.

Мне отвечали, что не менее *пяти лет*!

Оказывается, что одна только распилка камней занимает недели три, затем начинается выточка по рисункам отдельных частей, шлифовка, отделка и составление. Но что это получаются за вещи! Всевозможных цветов яшма, крупная по размерам и художественная по обработке, производит на зрителя чарующее впечатление. Немудрено, что подобные произведения ценятся десятками тысяч рублей, потому что один только пяти-

летний труд, требующий опыта и вкуса, стоит недешево, не говоря уже ни о чем другом.

Гранильная фабрика принадлежит Кабинету Его Величества, и все произведения ее идут исключительно ко Двору. Из Петербурга присылают сюда рисунки и восковые модели и через несколько лет получают чудные работы, драгоценные по стоимости и несравненные по мастерству и искусству. Например, небольшое яшмовое пресс-папье, изображающее группу кошек, сделано так художественно, что произвело бы фурор на любой выставке; тут же я видел и петербургскую восковую модель этой группы. Огромные вазы, подобие которых можно встретить в Императорском Эрмитаже, секут и гранят ежедневно несколько человек в течение нескольких лет; здесь кладется труд, способность, даже более того — талант; здесь расходуются страшные суммы и время, здесь оживляются и принимают художественные образы мертвые камни, и только очень немногие, т. е. местные жители да случайные путешественники, имеют возможность видеть и любоваться произведениями этой, единственной в своем роде, русской мастерской.

Даже мелочи — кабинетные фигурки, пепельницы, папиросницы, даже гладкие стаканчики — сделаны удивительно изящно! Но ни одна вещь здесь не продается. В публику поступают только изделия кустарей, частной работы; эти изделия пользуются большою известностью и сбытом, считаются интересными и красивыми; но тому, кто видел работу гранильной фабрики, эти кустарные вещи покажутся ничтожными и во всяком случае — не более как грубым подражанием.

Чтобы судить о кропотливости труда, я приведу в пример дарохранительницу, сделанную к престолу храма на станции Борки[27], где произошло крушение царского поезда. Эта вещь, некрупная по размерам, работалась здесь два с половиной года; она состоит из трех сортов яшмы, разных цветов, а кресты над нею сделаны из желтого топаза. По художественной отделке это замечательная вещь!

Музей Уральского общества любителей естествознания тоже довольно интересен и обширен. Главная задача его — жизнь и быт Урала, что характеризуется коллекциями животных и насекомых, рыб и птиц, минералов, монет, растительности и предметов быта местных инородцев: одежда, вооружение, идолы и т. п. Между прочим, у самого входа помещен громадный золоченый шар с крупною надписью:

«1.265 пуд. золота

29.000 000 кредитных рублей

по нынешнему курсу».

Если бы все золото, добытое за 67 лет (с 1820 г. по 1886 г.) в Невьянском заводе, слить вместе, то получился бы именно такой шар, в котором $39^1/_2$ куб. футов шлихового золота.

Меня крайне занимала мысль — увидать, хотя бы и мимоходом, добычу золота; но прииски все были слишком далеко и добраться до них я не имел возможности. Впрочем, верстах в двух или трех от города были прииски, истощенные, ничтожные, завещанные кем-то городскому хозяйству, под названием, если не ошибаюсь, «Основинские прудки».

По пословице, на безрыбье и рак — рыба, я был доволен и тем, что увижу приисковую работу, и, не теряя времени, нанял извозчика и поехал.

Близилось уже к вечеру.

X

Золотые россыпи

Среди зеленеющей полянки, окаймленной невысоким лесом, словно русло какой-то пересохшей реки, тянется изрытая полоса, то с ямами, то с кучами ярко-желтых камней и песка, то змеится по ней ручеек, направляясь вкривь и вкось, то зеленеет трава. Кое-где, близ воды, копошатся люди. «А вон и приказчик!— указал мне извозчик на человека в длиннополом сюртуке,

который не спеша пробирался по берегу. — Стало быть, дальше работают!»

Мы обогнали приказчика и вскоре остановились возле землянки. Тут было все: журчала вода, дымился костер, работали люди; один, стоя по пояс в яме, рубил киркой каменистую почву, другой насыпал песок и камни в тачку, третий стоял у чугунной дырявой плиты, в которую сбегала вода, и шевелил мокрые камешки «гребком». Это и были — старатели, т. е. вольные рабочие, получающие здесь не определенное жалованье, а плату с каждого добытого золотника[28]. Когда я подошел, они уже кончали работу. Мужик вылез из ямы и бросил кирку, на плиту под промывку насыпали еще две-три лопаты камней и решили, что на сегодня — достаточно.

Пока для меня ничего не было понятно. Я видел, как бежал откуда-то небольшой ручеек; на пути его лежала чугунная плита, узкая и длинная, вся продырявленная; на ней лежали песок и камни, которые обмывались течением ручейка и беспрестанно шевелились гребками старателей, стоявших, растопыря ноги, среди лужи. Все это делалось медленно, молча, и я глядел тоже молча; подошел еще какой-то зритель с охотничьей собакой и, не вымолвив ни слова, остановился перед плитой. У костра сидела баба и молча пила чай. Было слышно только, как скрежетали по плите переворачиваемые камешки да тихонько журчала вода.

Вдруг из-за землянки раздался сердитый окрик, и перед нами появилась старуха с круглым хлебом в руках.

— Эй! Молодец!— закричала она, поднимая кверху хлеб, у которого недоставало краюшки. — Собака твоя хлеб сожрала! Чего ты собак сюда таскаешь?

Сосед мой спокойно повернулся, взглянул на старуху и так же спокойно ответил.

— Моя собака не тронет.

— Чего не тронет! Кто ж это хлеб-то сейчас уволок?

— Не знаю. Моя не тронет.

—- Другой тут нет собаки,— небрежно возразил один из старателей.

— Моя не возьмет,— невозмутимо оправдывался зритель и продолжал следить за работой.

Произойди такой случай у нас в подмосковной деревне,— бог знает, какой неприятностью могло бы кончиться дело; а здесь обменялись мнениями насчет собаки — возьмет она или не возьмет — да тем разговор и кончился; даже старуха в заключение проговорила без всякого гнева.

— Ишь ты, оказия!

Вскоре после этого подошел к нам тот самый «приказчик», которого я обогнал. Подойдя, он поздоровался со старателями и обратился ко мне.

— Любопытствуете?

— Любопытствую.

Тогда он протянул мне руку и мы познакомились.

По его распоряжению сломали печать, которая соединяла чугунную доску с деревянным ящиком, и отложили эту доску в сторону. В ящике осталась порядочная кучка мелкого песка, темного, мокрого, который начали шевелить лопаткой, подвозя под струю ручейка. Этот ящик или, вернее, желоб с прямым дном, устроен несколько покато, так что вместе с водой по нему сбегает и более легкий песок. С каждою минутой кучка песка уменьшалась, и чем более она уменьшалась, тем становилась чернее. Наконец, течение ручья запрудили дерном, оставив одну слабую струю, и начали оставшийся черный песок подгребать кверху широкою щеткой. Промываясь, кучка становилась все меньше и все темнее; наконец, от нее осталась почти горсть.

— Это вот и есть самый *шлих*, спутник золота,— объяснил приказчик.

Продолжая подгребать эту черную кучку, которую снова размывала и разносила по ящику струя воды, старатель опустил туда ртуть, и она вскоре покрылась золотистою пылью...[29] Скучная, медленная и почти бесплодная работа!.. Хотя старатели и сознались, что день вышел крайне неудачный, что результаты обыкновенно бывают лучше, но все-таки — рыть, возить, промывать и вытапливать эту драгоценную пыль впятером с 6 часов утра до 6 часов вечера — не очень легко, а в результате совершенно ничтожный заработок!

Когда, наконец, вынули и положили на железную ложку комочек ртути, покрытый золотом, и поднесли к огню, чтобы посредством выпаривания уничтожить ртуть, приказчик достал из кармана маленькую кружку вроде копилки, с казенною печатью, и велел промывной ящик, или, по его названию, вашгерд, закрыть снова чугунною крышкой и запечатать. Я с любопытством глядел на костер и следил за золотым комочком, который все уменьшался на ложке; это выпаривалась из него ртуть, и вскоре получилось, не более как с горошину, чистое золото.

— Вот-с,— сказал приказчик, небрежно раздавив эту горошину пальцем.— Только и всего: за весь день!

Он пересыпал с ложки на бумагу желтый порошок, поднес его мне чуть не под нос, предлагая полюбоваться, а затем запер его в копилку.

В эту кружку собирается золото за всю неделю и по субботам принимается конторой, которая платит старателям с намытого золотника по 2 руб. 80 коп.

На другой день по той же Уральской железной дороге я добрался, около полуночи, до станции Камышлов, где нанял почтовую тройку, и с звоном колокольчиков и лихими окриками ямщиков помчался по проселкам в громоздком тарантасе в город Ирбит, с давних времен знаменитый своею ярмаркою.

Несмотря на глухую полночь, на небе появились первые признаки рассвета: луна бледнела, звезды гасли и заалел восток...

XI

Ирбитская ярмарка

На сто десять верст в сторону от линии Уральской железной дороги, вдалеке от больших пунктов и городов, расположился по реке Нице тихий пустынный городок Ирбит, маленький, но оригинальный. Вряд ли когда-нибудь заезжал сюда ради любопытства хоть один путешественник, особенно в летние месяцы, ког-

да город глядит сиротою, словно только что пережившим тяжелую эпидемию. Жителей почти не видно; центральные улицы пусты, лучшие здания заколочены наглухо, и хотя много мелькает перед глазами вывесок с громкими названиями гостиниц и ресторанов, но все это заперто, даже забито досками, и приезжему не только негде остановиться, но негде и поесть. Отсутствие какого бы то ни было пристанища, кроме почтовой станции, где стоит кровать да диван, указывает ясно на то, что приезжих здесь не бывает. Да и делать им нечего, потому что Ирбит стоит совершенно особняком и без необходимости ни мимо города, ни через него ехать некуда.

История возникновения города немногосложна. Во время пугачевской смуты, охватившей край в 1774 г., жители тогдашней Ирбитской слободы, под предводительством крестьянина Ивана Назаровича Мартышева, отразили нападение бунтовщиков, за что Мартышев был возведен в дворянское сословие, а слобода обращена была в город. В честь этого события на главной площади поставлен в 1883 г. памятник императрице Екатерине II, изображенной во весь рост, со скипетром в одной руке и с грамотою в другой, где помечено знаменательное для города число: «3 февраля 1775 года».

Иных достопримечательностей в городе нет. Впрочем, если вы возьмете план, изданный четыре года назад, следовательно, недавний, вас удивит приложенное «объяснение зданий». На город с населением в 5—6 тысяч приходится 5 училищ, 5 церквей, считая здесь же собор и часовню,— и целый *десяток* торговых бань!.. Признаки такой чистоплотности тоже своего рода достопримечательность!..

Несмотря, однако, на захолустье, город приобрел себе некогда славное имя, служа центром торговых сношений азиатского рынка с европейским; он и теперь, с проведением вдалеке от него железной дороги, не утратил еще своего значения, и его ярмарка — с 1 февраля по 1 марта — считается в России по своим оборотам второю после Нижегородской. Существует предположение, что в Ирбите с давних пор происходила мена

между татарами и финскими народами Прикамского края, отчего и название города производят от татарского слова *ирыб*, что означает съезд.

Официальное утверждение ярмарки Указом царя Михаила Федоровича произошло в 1643 г.

«Нелегко было пробраться в те времена на Ирбитскую ярмарку какому-нибудь москвичу или нижегородцу. Тогда в большинстве случаев не знали, где ближе проехать; ехали понаслышке; почтовых лошадей и даже вольных ямщиков, местами, не было,— приходилось ездить на своих лошадях, везя с собою и товар. По дорогам чуть не на каждом шагу приходилось встречаться со злыми людьми: леса и большие дороги кишмя кишели разбойниками; на дороге существовали внутренние таможни, где осматривали самих, брали пошлины, а вместе с ними и неизбежные взятки. На переправах и перевозах — новые расходы; в городах — расспросы воевод и прочего начальства: что за люди? Куда едете? Зачем?— и новые взятки... Донесет Бог до Ирбита,— новые расходы и неприятности. Верхотурские воеводы самовольничали здесь самым возмутительным образом. Кроме пошлин в казну, брали взятки в свою пользу, по своему усмотрению, и товаром и деньгами. Иногда, желая взять побольше, отсрочивали день открытия ярмарки на неопределенное время и запрещали собравшимся купцам торговать на том основании, что ярмарка еще не открыта. Поневоле купцам приходилось делать складчину, идти к воеводе с поклоном и нести «поминок», чтобы поскорее открыл ярмарку... А кроме воевод, нужно было ублаготворить еще разных приказных, подьячих, старост и других служилых людей»*.

Ирбитская ярмарка, имевшая большое коммерческое значение в продолжение более сотни лет и притягивавшая к себе за тысячи верст представителей чуть не всех российских губерний и областей, до сих пор дает средства к существованию целому городу. Понятно, с каким нетерпением ожидают ее все обыватели. Помимо выгоды, она приносит городу оживление и много удовольствий, а сбродный ярмарочный элемент

* Волгарь. 1895.

служит, кроме того, звеном, соединяющим это спящее захолустье с живым цивилизованным миром.

Во время ярмарки город словно перерождается. Население с 5—6 тыс. сразу доходит до 50000. Чуть не в каждом доме отдаются квартиры и комнаты, а многие дома обращаются в магазины, причем бывает так, что иной домохозяин чистит вам сапоги и одежду, ставит самовар и вообще исполняет должность лакея, не считая никакую работу унизительною,— была бы лишь доходна. Поэтому нередко происходили такие случаи: городской голова, являясь во всем параде к почетному приезжему с визитом, важно входил в переднюю и здоровался сначала с лакеем за руку, расспрашивал его, как он поживает, все ли в добром здоровье, а затем уже позволял ему снять с себя шубу и ботики, потому что этот лакей — свой же брат, обыватель, а с ними со всеми представитель города круглый год в наилучших отношениях, с иными даже приятель. Во время ярмарки оживляется все: открываются трактиры — с арфистками и без арфисток[30], с музыкой и без музыки[31] — до кабака включительно; арфистки играют здесь вообще видную роль. Для более взыскательной публики существует ярмарочный театр, где чередуются самые раздирательные драмы с самыми отчаянными оперетками, чтоб угодить на все вкусы; здесь действует цирк, устраиваются концерты, бывают даже гадальщицы на картах, которые, по словам публикации, «предсказывают будущую судьбу, рассказывают прошедшее и настоящее». Повсюду, кажется, такие гадальщицы запрещены, но здесь они смело публикуют о себе в газете и находят много поклонников. Оно и понятно, потому что съезжается много инородцев, любителей всего таинственного, да и наши почтенные русаки не прочь иногда заглянуть в будущее...

Если принять в соображение, что в течение одного месяца оборот ярмарочной торговли достигает средним числом 40 млн руб., что здесь на «нейтральной» почве сходятся Сибирь со среднею Россией, меняясь товарами, что здесь съезжаются представители чуть не

всех народностей, населяющих Россию, и притом люди преимущественно со средствами, к тому же немногие из них образованны и воспитанны,— то становится понятным тот разгул, который существует еще до сих пор и который в высшей степени процветал лет 10—20 тому назад. Обычный ход ярмарочной жизни нарушался только двумя «событиями»: благотворительным гуляньем и Масленицей, которая приходится как раз в разгар ярмарки. Справлялось, впрочем, одно только Прощёное воскресенье, и в этот день запирались все лавки. Бывал даже местный «карнавал»: нанимались розвальни, в них ставилась лодка, а в лодку стол со всевозможными винами и закусками; в лодке же помещались музыканты — три-четыре жида со скрипками; борта ее обставлялись шестами, на которых вешались собольи хвосты; лошади убирались лентами,— и в таком виде, с песнями, шумом и гиканьем, проносились по городу тройка за тройкой с полупьяными купчиками и арфистками.

Очень ярко обрисовал этот ярмарочный разгул свидетель его, Вердеревский[32], писавший корреспонденции в пятидесятых годах. Описывая ярмарочный бал, он говорит между прочим: «В одной кадрили я видел танцевавших визави — молодого единоверца с казанским татарином, в национальном костюме, в другой кадрили — элегантного английского «комми»[33] по меховой торговле визави с полновесным городничим. Польку-мазурку и польку tremblant прекрасно танцуют юные здешние кержачки[34]. И где, кроме необъятной Руси, встречается что-нибудь подобное!»

Далее, описывая одну гостиницу, он говорит: «Сколько раз заставал я в этих низеньких, задымленных приютах ночного веселья следующую сцену: посреди комнаты кружок добрых приятелей, сосредоточенный около другого кружка — кружка выпитых и не выпитых бутылок; с полными стаканами в руках, со сладчайшею улыбкой на устах, все они хором поют во славу одного из своих товарищей, под звуки жидовского торбана[35] или арф заезжих гурий:

Чарочка моя
Серебряная,
На золотом блюдечке
Поставленная!
Кому чару пить
Кому выпивать?

Пить чару,
Пить чару
Ивану Ивановичу!
На здоровье,
На здоровье,
На здоровьице!

Вслед за тем идет чоканье стаканов, чмоканье целующихся уст и опять повторение той же хоровой песни — во славу Григория Григорьевича, потом Федора Федоровича и т. д., пока не будут прославлены все участники пира.

— Что там такое?— спросил я лакея.

— Ничего-с, Сибирь ликует, сударь!— отвечал тот.

Но не одна Сибирь ликует на Ирбитской ярмарочной Масленице. Загляните на улицы, на площади. Вот едут гигантские сани на восьми лошадях; сани покрыты коврами, в санях толпа ликующего народа, иногда с бутылками и стаканами в руках... Все поют, кричат и громко перекликаются со знакомыми в окружающей их толпе. А в толпе встретите вы лисью шубу купеческого приказчика и штофный шугай[36] заводской бабы, и остроконечную вислоухую шапку башкирца, и тюбетейку татарина, и gibus петербургского негоцианта, и бобров и соболей иркутских купеческих сынков... Или вот еще везут какую-то подвижную каланчу; из саней высится мачта с флагами и лентами, наверху сидит паяц в шутовском наряде и кривляется на диво бегущей позади пестрой толпы. Жизнь, веселье, вино и золото — кипят и льются через край...»

Ирбитская ярмарка — это место, куда всем и отовсюду ехать далеко и одинаково неудобно, но куда все-таки едут — с востока и запада, с севера и юга, куда привозят товаров на десятки миллионов рублей, где ютятся по каморкам, живут в магазинах, где встают до восхода солнца, а ложатся чуть не на утренней заре, где все кипит деятельностью, торопливостью и разгулом, где по трактирам за стаканом чая завершаются стотысячные сделки, а рядом хлопают пробки и льется пенистое вино, где под песни арфисток и го-

вор разноязычной публики продается и покупается на огромные суммы, где татары, евреи, православные русаки и столичные коммерсанты пропивают магарычи, хлопочут, суетятся, работают, где до пены у рта спорят из-за гривенника в товаре и где ночи напролет просиживают за картами, спуская тысячи и пропивая сотни рублей. Ирбитская ярмарка — это съезд крупнейших коммерсантов, арфисток и фокусников, мелких торгашей и помещиков, фотографов и заводчиков, докторов и актеров, столичных шулеров и губернских карманников; здесь имеется и продается все, начиная с ситца, сала, кошачьей шкурки и кончая брильянтами, начиная с кваса и кончая шампанским, есть даже «собственные» вина, нигде никогда не слыханные, как, например, «Фаяльское»[37], переименованное за вкус и впечатление в «русский мордоворот», о вкусе которого лучше всего выражался волостной писарь, который, в рюмку водки подливши красного уксуса, попивал да похваливал: «Совсем настоящее Фаяльское винцо-то!..» Ирбитская ярмарка — это истинная «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний», это то самое место, куда стремятся за барышами из-за тридевяти земель, куда везут все, чем богаты,— товар ли это, или талант, или досужее время, или шальные деньги; все здесь крутится и мешается в каком-то чаду и вихре; сюда съезжаются всевозможные увеселители, всевозможная беднота и нужда, которая, по словам песни, скачет, пляшет и песенки поет; сюда же привозят целыми обозами «одиноких девиц» специальные антрепренёры; здесь делают громадные миллионные обороты временные отделения банков, издается временная ярмарочная газета; здесь же торгуют пряниками и живыми кошками,— словом, нет такого дела и предмета, которые не нашли бы здесь применения. Вот что такое в общих чертах Ирбитская ярмарка.

XII

Почтовые станции.— Город Камышлов

Это был тихий, пустынный и точно заснувший город, когда моя тройка, звеня колокольчиками, въехала в Ирбит и понеслась по безлюдной улице с запертыми домами и заколоченными магазинами, а центральная площадь, куда, переодевшись, я пошел побродить, показалась мне еще печальнее. Все пусто, уныло, все стоит покинутым, забитым досками, и пассаж, и гостиный двор,— все словно ждет чего-то, чтобы проснуться и ожить... С наступлением сумерек город совершенно обезлюдел; зато послышалось монотонное перекликание сторожевых колотушек, то где-то близко, то вдалеке,— и в девять часов вечера ничего не оставалось делать более, как ложиться спать.

На другой день почтовая тройка уносила меня уже обратно в просторном, громоздком тарантасе по полям и дорогам. День был теплый и солнечный; вокруг цвели травы, слышалось пение и щебетанье птиц, белые бабочки кружились над кустами придорожного шиповника; встречались по пути богатые деревни и села, стада овец и лошадей, пестрели пашни, вертелись ветряные мельницы. Ямщик, то балуя вожжами, то взмахивая кнутом и руками, иногда посвистывал и подгонял тройку, а то — неизвестно с чего — начинал сердиться на лошадей и при этом так отчаянно вскрикивал на них хриплым и вместе визгливым голосом, что можно было подумать, будто его за великие грехи только что посадили на кол, или что невидимая рука нежданно-негаданно ухватила его прямо за горло. И тройка, привычная к таким окрикам, мчалась во весь дух, а под дугой докучливою песней заливались неугомонно два колокольчика и гремели на пристяжках бубенчики...

Почтовые станции — это домики среди селений, с пестрым верстовым столбом у самого входа, с широким грязным двором, где стоят лошади и тарантасы; просторная комната для приезжих обыкновенно переполнена мухами, оклеена пестрыми обоями, с портретами

монархов и генералов, с лубочными почерневшими картинками и зеркальцем в простенке; на окнах зеленеют растения, по полу тянется жиденькая полоска ковра; у стены диван, перед диваном стол, покрытый либо клеенкой, либо вязаною салфеткой, и несколько стульев по стенам — вот и вся незатейливая станционная обстановка. Пока смотрители прописывают подорожную[38], жены их предлагают напиться чайку; новые ямщики запрягают лошадей, а прежние молча стоят, в ожидании подачки, потому что это «обычай и порядок», и с одинаковою благодарностью принимают полтинник и гривенник[39].

В Камышлов я приехал уже вечером, часа за 3 до отхода поезда. Вокзал был заперт, и мне пришлось вернуться на вольную почту, где совершенно нечего было делать; к тому же после езды в тарантасе сряду десять часов без отдыха я с непривычки устал.

Вечер был тихий и ясный. Одиночество и скука выгнали меня из комнаты, и я, выйдя на крыльцо, присел на порожек и стал глядеть на расстилавшуюся передо мною дорогу, на пустые сараи впереди, на церковь, одиноко стоящую по правую сторону почты. Тихо, скучно и безлюдно. Вокруг ни души; только где-то вдали, среди вечернего затишья раздаются тягучие звуки гармоники, наигрывающей «Мандолинату». Следя за мотивом, невольно припоминал я слова этой песни:

Среди ночного мрака
В этот блаженный час
Мы будем петь и ликовать,
Смеяться и плясать...

Как хороши, быть может, такие слова где-нибудь в испанской провинции и как неуместны они по своему призыву к смеху и ликованию здесь, среди пустоты, уныния и безнадежного затишья русского провинциального городка. Где и кто играл на гармонике — мне не было известно, но чудилось мне почему-то, что это был одинокий изнывающий в тоске молодой человек, и жалко мне его было!.. Вдруг в эти мечтательные звуки неожиданно вмешались другие звуки — жидкие, равно-

душные и бестолковые; это собрались забить городские часы, где-то тоже вдалеке, но их сейчас же заглушили часы церковные, которые близко, почти по соседству, начали ударять грубо и лениво, а когда они кончили,— испанская серенада уже прекратилась.

Около полуночи я вошел в вагон только что прибывшего поезда и, утомленный, сейчас же заснул, а когда поутру проснулся, поезд подходил уже к предельному пункту — городу Тюмени.

Хотя и говорят, что Екатеринбург — ворота в Сибирь, но по всей справедливости это название заслуживает именно Тюмень. До Тюмени и железная дорога проведена, и телеграфное слово считается по пятачку, как повсюду в любом городе; по пути те же порядки, те же станционные строения, как везде, и не видишь никакой особенности; но едва переступишь порог Тюменского вокзала, едва очутишься по ту сторону, как все изменяется, и даже телеграфное слово обходится вместо пятачка в гривенник, потому что — Сибирь! Здесь уже истинная Сибирь, и не только географическая, а характерная, бытовая Сибирь, та самая, про которую сложили песенку местные стихотворцы:

За Уральскими горами,
За дремучими лесами,
Во владеньях Ермака
Протекает Томь-река;
По ней ходят пароходы,
Ездят разные народы,
Из России эмигранты,
Аферисты, арестанты,
Адвокаты и актеры,
Феи милые и воры.
Там богатства процветают,
Там таланты погибают,
Там дубина Ермака
По спине сибиряка
Триста лет уже гуляет,
Тешет ребра — просвещает!..

Город Тюмень построен был в 1586 г. царем Феодором Иоанновичем на месте татарского города Чимги-Тура, где, по словам легенды, жил когда-то татарский князь с 10 тыс. подданных, от чего будто бы и произошло название Тюмень, что означает «десять тысяч».

Такова уж, должно быть, судьба Тюмени, чтобы все считать десятками тысяч. По крайней мере на городском поле, под открытым небом, жило не менее этой цифры «расейских» переселенцев, в ожидании пароходов, чтобы отправиться далее.

К сожалению, этой отправки ожидать им приходится по две и по три недели, а пока терпеть нужду и холод да хоронить своих семейных, особенно ребятишек.

XIII

Город Тюмень

Город Тюмень стоит при впадении речки Тюменки в реку Туру, по которой с сороковых годов развилось пароходство, давшее местной торговой деятельности новые силы. Товарное движение на Обь и Иртыш теперь достигло больших размеров, и рабочие на пристанях добывают рубля до полутора за день; по деревням работают сита, кули и сани, но более широкой известностью пользуются здешние ковры. Сам по себе город вообще грязный и неряшливый; улицы немощеные, изрытые ямами, и не в диковину встретить дом, перед которым, вроде «тюменского ковра», расстилается громадная лужа, а в нее свесив голые ноги, сидит на крылечке мальчишка и беззаботно насвистывает песню. Экипажей рессорных здесь нет, да и вряд ли возможно на них ездить; дома преимущественно деревянные, почерневшие; но есть и оштукатуренные, приличные и даже красивые.

Прямо с вокзала меня привезли в гостиницу, лучше которой в городе нет; об этом первенстве засвидетельствовал даже полицейский, при котором я нанимал извозчика, прося доставить меня в лучшую гостиницу.

Старая добродушная немка (служанка) приготовила мне самовар и, узнав, что я новичок, очень предупредительно прислала ко мне для развлечения своего сына. Это был веселый немчик, малый лет 16-ти, которого мать величала Игнашкой. Он охотно брался за все: заваривал мне чай, принес показать обеденную карточку, написанную образцово-безграмотно, рассказывал о городской жизни, причем, кажется, врал в свое удовольствие, но в общем занимал меня очень весело.

— Э, что за город!— говорил он про Тюмень, махая рукой. — Сколько здесь жуликов, что только гляди, как бы чего не стащили. Зато и бьют же этих жуликов очень больно. Попался если где вор, его колотят своим судом почти до смерти, а если жив останется, то тогда в полицию отведут... Беглых тоже шляется много: в прошлом году одного забрали на Царской улице... Что же это за город, если по главной улице беглые гуляют! Зима здесь тоже очень длинная... Ни груши, ни яблоки здесь не растут... Э, что это за город!

Действительно, проезжая по главной улице, я встретил пьяного татарина, который, шатаясь, брел по деревянному тротуару и кричал во все горло. Как объяснил мне извозчик, это у них часто случается, потому что кричать никому не запрещено и поэтому кричи сколько хочешь — никто на тебя внимания не обратит. «Э, что это за город!»— вспомнился мне Игнашка.

В противоположность ирбитскому ярмарочному разгулу, здесь процветает пьянство только среди рабочего люда, остальное население скромно и заботливо; например, на мои вопросы, когда удобнее застать такого-то обывателя, мне отвечали про многих: всего лучше в 7 часов утра. А местное купечество до такой крайности «степенно», что не только не зайдет в ресторан пообедать, но даже мимо гостиницы норовит пройти по другой стороне. Зато рабочие, добывающие по пристаням, как я уже сказал, довольно хорошую плату, живут бедно, потому что все пропивают и, засыпая пьяным сном где-нибудь в канаве, наголо обчищаются бродягами.

Проезжая по городу, я столкнулся на какой-то площади с громадною партией арестантов; их гнали на берег, на баржу. Сначала было видно, как надвигалась эта серая колыхающаяся масса, потом забелели солдатские рубахи, засверкали штыки, и звуки шагов зашумели вместе со скрежетом цепей. Люди с бритыми головами, в серых халатах или куртках, нагруженные связками и пожитками, обремененные кандалами, нередко босые, с высоко засученными штанами, иные в сапогах, торопливо проходили широкою полосой среди конвойных, опрятно одетых в белые рубахи; словно серый бурный поток мчался среди своих берегов; проходя через городские лужи, они шлепали по ним ногами или перепрыгивали их и бряцали цепями, то дружно, то вразброд,— и эта невозможная музыка, терзающая непривычные нервы, слышалась еще издали.

Партия была огромная — не менее тысячи человек, а то, пожалуй, и больше. Сначала гнали мужчин, потом шли женщины, также с узлами, в халатах и белых платках; также перескакивали они через лужи, а другие, у которых были босые ноги, шлепали по воде. Потом тянулся целый обоз телег и кибиток с больными; тут же ехали и женщины с грудными детьми. Что особенно поражало — это общее настроение, гнетущее и странное. Конвойные мерным шагом идут по сторонам партии и сурово молчат, точно исполняют какое-то несвойственное человеку и неприятное дело, а между тем каторжные развлекаются беседой друг с другом, нередко пересмеиваются, и хохот их еще более угнетает постороннего зрителя, звуча как-то странно среди скрежетания оков...

Снова, как было уже раньше со мною на камском пароходе, при виде арестантов мне вспомнились переселенцы. Я знал, что именно здесь, в Тюмени, сосредоточиваются ихние партии, что именно отсюда рассылаются они по разным областям и губерниям*; вспомнился мне и суровый взгляд на них попутчика-сибиряка, и я

* Дело было в 1894 г., когда Великая железная дорога не доходила еще до Омска и главная часть переселенцев направлялась через Тюмень.

поспешил поехать на поле, которое раскинулось под самым городом по берегу реки и которое занято почти сплошь прибывшими переселенцами.

Что такое переселенец? Прежде чем говорить о положении его в Тюмени, необходимо сказать два слова о том, к чему вообще стремится такой человек и от чего бежит с родины.

Бежит он с родины потому, что ему там тесно, потому что мал надел, потому что на родине нечего есть, а в Сибири дают наделы большие, земля родит много хлеба и даже подати не берут на первое время, а в дальних местах, кроме того, деньги дают на хозяйство и сыновей не берут в солдаты, так что здесь возможно жить со всею семьей, сравнительно с родиной, припеваючи. Таков идеал обыкновенного переселенца и таковы причины, погнавшие его в неведомую сторону, на «новое место».

Чтобы не быть голословным, я привожу целиком газетное сообщение от 21 марта 1895 г.* «Злоба дня Орловской губернии — усиленное стремление крестьян к переселению; об этом доносятся слухи чуть не из всех уездов, но больше всего говорят о *поголовном* сборе крестьян села Шаблыкина Карачевского уезда. Положение названного села давно уже обращало на себя внимание, но до сих пор решительно ничего не было сделано для шаблыкинцев, несмотря на их ежегодные жалобы. По данным исследования 1887 г. оказывается, что крестьяне с. Шаблыкина и смежных деревень, Павловки и Савостьиной, получили дарственный надел[40] в таком размере: на единицу разверстки и на ревизскую душу выходит 0,75 десятин, на наличную душу мужского пола — 0,6 десятин и на наличную надельную семью 1,8 десятин. Таким образом, крестьянам был дан так называемый «нищенский надел». По статистическим данным 1887 г., среди названных дарственников было на 261 семейство 106 семей безлошадных, 114 без коров, 74 без крупного скота и 88 семейств без инвентаря; задолженных хозяев в это время было 181, причем 178

* Русские ведомости.

из них были должны 12948 руб. Приведенных данных вполне достаточно, чтобы объяснить поголовное стремление шаблыкинских крестьян к переселению».

И вот такие крестьяне оставляют на родине свои наделы, дома, постройки, хозяйство — или продавши их, или заложив, или, наконец, оставив за недоимки, едут семьями искать новую «родину». Если для многих это новое место является «родною матерью», то путь до него для большинства бывает «злою мачехой» и, кроме полного разорения, продолжительного страдания, а иногда и потери целой семьи, ничего не приносит.

Об этом знают теперь, кажется, все, но все-таки число переселенцев возрастает год от года, потому что год от года и родимая сторона обращается незаметно в злую мачеху.

Главное переселение наблюдается из Курской, Тамбовской и Полтавской губерний, меньшинство идет из Тульской, Подольской и Могилевской; но в общем переселяются чуть не из всех губерний Европейской России.

Приехав на тюменское переселенческое поле, я в продолжение нескольких часов наблюдал следующие картины и сцены, которые навсегда останутся у меня в памяти.

XIV

Переселенцы

Это было широкое поле, раскинувшееся верстах в двух за городом. Если глядеть на него издали, то можно было подумать, что оно покрыто почти сплошь белыми овцами; на самом деле это белели низенькие палатки, настолько низенькие, что в них едва-едва мог поместиться человек в сидячем положении; это были даже не палатки, а груды тряпок, висевшие на шестах. Все поле, насколько его окинет взгляд, пестрело такими тряпками, среди которых то тут, то там возвышались дощатые шалаши, серые и тощие, с покатыми крыш-

ками; это были отхожие места, выстроенные здесь в изобилии и распространяющие по всему полю одуряющий тяжелый запах. Впрочем, многие, особенно дети, обходятся без этих шалашей. Повсюду стоят огромные лужи дождевой воды, где развлекаются голоногие ребятишки перехождением вброд; в траве, возле палаток сидят и лежат люди, преимущественно без всякого дела, без всяких занятий, очевидно изнывающие в тоске и бездействии. Кое-где встречается баба, которая, сидя, шьет рубашку, а рядом валяется ничком на траве бородатый мужик и дует в кулак от нечего делать; тут же сушится на палках белье, тут же охает старуха, или компания хохлов, поджавши по-турецки ноги, раскуривает общую трубку, или молодая мать, расстегнув сорочку и обнажив груди, кормит ребенка; здесь же кричат и резвятся подростки, или дымится костер под маленьким котелком, либо молчаливая девушка разбирает внимательно голову подруги, лежащую у нее на коленях, а рядом дуются в засаленные карты молодые парни; где-то внутри палатки слышится детский хриплый кашель и плач, либо доносится нехорошее бранное слово, либо старческий глубокий вздох с причитаньем молитвы...

Всего на поле жило народа в это время около 20 тыс. человек, обносившихся, неумытых, прятавшихся в свои палатки только на ночь да в проливной дождь; в остальное время большая часть этой массы бродила по полю, стояла, сидела, лежала, сходилась толпами и, в ожидании отправки, совершенно бездействовала дни, недели и даже месяцы. Они уже так истомились своим бездействием, так стосковались, что стоило мне обратиться к какому-нибудь мужику с самым пустым вопросом, как сейчас же вокруг нас образовывалась кучка любопытных, а через минуту это была уже целая толпа скучающих и поневоле праздных людей, которые сбегались со всех сторон, окружали меня огромным непролазным кольцом и, не понимая, в чем дело, интересовались и ждали, не скажу ли я им чего-нибудь нового. По преимуществу это были малороссы, с типичными загорелыми лицами, в шапках или широких соломенных шляпах, в пестрых жилетах поверх рубах; тут же толпились и

простые русские бородатые мужики, печальные слезливые бабы и нарядные хохлушки. Бог весть, за кого меня принимая, все обнажали головы и на разных наречиях восклицали:

— Ваше благородие!

Мгновенно поднимался такой говор и шум, что, кроме этого «благородия», разобрать было нельзя ничего; но по лицам было заметно, что говорят они о чем-то важном для них, близко касающемся их жизни, а может быть, и благополучия. И чем громче они кричат, тем больше и плотнее становится народное кольцо от прибегающих издали людей, желающих узнать, как решу я ихнюю участь.

С трудом удавалось мне объяснить, что я ровно ничего не значу для них и что не могу ничего сделать.

Повсюду повторялось одно и то же. Если через сто шагов дальше я обращался с вопросом к какому-нибудь новому хохлу, то сбегались опять любопытные и опять та же толпа вместе с новою обступала меня, вероятно, надеясь, что тогда я ничего не сказал, а теперь уж наверно что-нибудь сделаю.

Нужды их и просьбы, с которыми они обращались ко мне, были везде одни и те же. Иногда, раздвигая галдящую толпу, ко мне протискивался крестьянин и громко взывал:

— Ваше благородие!

Он махал рукой толпе, чтобы затихла, и начинал объяснять, что все они здесь «амурские», т. е. едущие на Амур, а их не отправляют, не дают пароходов, а отправляют ближних, т. е. тех, которые едут в Томскую губернию. Первые слова его производят на толпу впечатление: она молчит, видя перед собой выразителя общего мнения; но выразитель этот сбивается с речи, и его поправляют и пополняют сначала соседи, потом раздаются откуда-то из средины голоса, а потом опять гудит и кричит вся толпа.

Оказывается, эти амурские стоят здесь уже около трех недель и все ждут, что их отправят.

— Что же вы здесь делаете?— спросил я.

— Что делаем,— угрюмо отвечал переселенец,— ребят хороним да последние деньги проедаем...

Он был прав. Слова его подтвердились следующей корреспонденцией, которую мне впоследствии пришлось прочитать.

«Условия передвижения переселенцев текущего лета крайне неблагоприятны. Через Тюмень проходит 53-я тысяча. Доставка срочных грузов на Волге и Каме вызвала продолжительные задержки переселенцев: в Саратове до 4 дней, в Нижнем и Казани до трех недель, да столько же в Перми и до 24 дней в Тюмени. Сибирские пароходы заняты железнодорожными грузами. В Нижнем 40% переселенцев просидело полтора месяца лишних в дороге. Инфекционные заболевания и смертность достигли неслыханных размеров: корь, скарлатина, оспа, дифтерит, дизентерия унесли в Тюмени 800 детей. Смертность на водяных путях такая же: меньше двух месяцев в пути — 1500 смертей. Скопление переселенцев в первой половине июля дошло в Тюмени до 15 тысяч. За отъездом зажиточной массы, здесь остались бедняки, нуждающиеся в помощи. Средства местного переселенческого комитета совершенно истощены...»

— Проелись, совсем проелись!— жаловались мне в другой группе. Это были киевляне. Они рассказали мне в коротких словах свое путешествие.

— Приехали мы в Нижний... Чем бы дальше ехать, нас поставили по квартирам и брали 2 копейки с души... Так недели две стояли; потом отправили нас в Казань; там по берегу в палатках на песке страдали 18 дней. Из Казани до Перми плыли пять суток да в бараках жили 2 дня. Потом сюда приехали да здесь третью неделю проедаемся, а хлеб-то здесь три копейки за фунт.

— Если бы без задержек,— говорили другие,— то у нас хватило бы денег, а теперь — прохарчились!

Третьи указывали на то, что привезут их на Амур к самой осени: «Чем мы там будем жить?..»

И повсюду, где ни послушаешь, главная забота, главная жалоба — это страшная задержка в пути, поглоща-

ющая их капиталы. «Прохарчились, проелись»,— только и слышно.

Напрасно я старался уверить их, что ничего не могу сделать,— они жаловались, кланялись, просили помочь и кому-то «поговорить»... Иногда, расталкивая толпу, протискивался ко мне какой-нибудь человек и начинал громко излагать несчастье, часто личного свойства. Так, вспоминается мне молодой парень, хохол, который, устремив на меня свои быстрые глаза, взволнованно требовал от меня «правды» и кричал: «Рассуди!» Дело в том, что этот парень-екатеринославец — «засватал» в пути у полтавского переселенца дочь и выдал ему 11 рублей; дело, однако, разошлось, но старик ему не возвращает этих 11рублей.

— Рассуди нас! — кричал парень на своем хохлацком наречии, браня при этом старика, кажется, бесом, а невесту — собакой.

Хотя среди переселенцев встречаются представители чуть ли не 60 губерний, но хохлов здесь больше всего, и на вопрос: «Какой ты губернии?» почти всегда получается ответ: — «Полтавской». Идут они тоже в разные местности Сибири, даже, как я уже сказал, на Амур; но главная цифра переселения падает на Томскую губ. и, преимущественно, на ее южную часть. Так, в прошлом году сюда прибыло около 70% всего переселения.

Проходя далее по полю, я был внезапно поражен звуками — странными, тягучими; это напоминало хоровую песню, хотя было вовсе не песней; это ветер донес до меня откуда-то издали звуки неясные и непонятные, но заставившие меня оглянуться. Среди поля, среди общей массы народа и палаток, я увидал, как двигалась по направлению к лесу небольшая кучка людей; когда они проходили невдалеке от меня, я расслышал уже ясно это нестройное пение, мешающееся с бабьим причитанием и воем. Впереди несли крышку гроба, затем несли покойника, которого сопровождала семья с пением и плачем; семья сама его оплакивала, сама и отпевала. Следом за ними несли вторую крышку и второго покойника, а за ним, так же как и за первым, шли поющие и воющие бабы... Гробы были открытые, наскоро ско-

лоченные из досок. Процессия двигалась так поспешно, так быстро, точно боялась опоздать куда-то...

Оказывается, здесь умирает так часто и так много народа, что покойников даже не отпевают, а просто, как сказывали мне мужики, поп благословит — и только.

Особенно велика смертность детей, и фраза переселенца о том, что они здесь «проедаются да детей хоронят»,— сущая правда.

Немного далее, на том же поле, выстроены деревянные бараки; в общем это целое селение, напоминающее не то подмосковные дачи, не то какую-то благотворительную колонию. Между прочим, здесь ведется обширное хозяйство; помимо временных ночлежных квартир, больницы и прачешной, здесь помещается специальное переселенческое статистическое отделение, где летом работают приезжие студенты; есть также кухня, где пекутся хлебы и варится пища. О деятельности этой кухни один из крестьян отозвался так.

— Хорошее дело: на детей, которым меньше десяти лет, полагается по фунту хлеба, да супу черпак — даром!.. Только трудно добиться...

Понятно, что ни пищей, ни квартирами нет возможности удовлетворить всю эту 20-тысячную толпу, не прекращающуюся с весны до глубокой осени; поэтому большинство переселенцев живет под открытым небом и питается собственными сухарями да варит в собственных котелках бог весть из чего и бог весть какое кушанье, называемое «хлёбово».

Бараки делятся на три двора.

«Старый двор» состоит из 16 мрачных корпусов, с нарами по стенам, и двух больших бараков, с расчетом на 350 человек в каждом, грязные, холодные, с невыносимым удушьем и зловонием; здесь же находится аптека, амбулатория, барак для медиков, служащих и статистиков; здесь же построен барак для семейств тех переселенцев, которых взяли в больницу на «Новый двор».

Этот «Новый двор» занят исключительно больничными постройками; здесь бараки: тифозный, оспенный, коревой, скарлатинозный, хирургический, два терапев-

тических: мужской и женский, и родильный покой; здесь же помещаются кухня, дезинфекционная камера, мертвецкая и сторожка; здесь же живут фельдшерицы и медик-студент.

Третий двор — «Сибиряковский», вполне опрятный, с новыми чистенькими постройками, рассчитанными на 60 человек в каждом из четырех бараков; здесь устроена чайная и столовая, где ежедневно отпускается до тысячи обедов, и переселенцы, попавшие в этот двор, устраиваются как дома.

Я прошел далее... За бараками, по берегу реки, толпилось опять множество народа, а в воде около пристани стояли две громадные баржи, на которых должны были отплыть в этот день 2000 переселенцев.

XV

Переселенческие баржи

Те, для которых предназначены были эти баржи, назывались счастливцами. Им завидовали, даже сердились на них за выпавшее на их долю счастье, а счастье это заключалось лишь в том, что они с одного места стоянки недели через две попадут в другое,— все-таки ближе к цели!

И вот толпа этих «счастливцев» стоит на берегу и ожидает своей очереди. Они уже ехали по воде, ехали по железной дороге, стояли в полях, то здесь, то там, и их не удивишь уже никакими приключениями, никакими неудобствами. Они со всем свыклись и ко всему притерпелись. Если даже платный пассажир, ну хоть второго класса, испытывает разницу по удобству между железнодорожным вагоном и пароходною каютой, то разница эта существует и для «дешевого» пассажира-переселенца. Понятие о том, как перевозят переселенцев по Уральской железной дороге, виды и прелести которой я кратко излагал в первых главах, можно составить со слов санитара г-на Сущинского, который сам проехал в вагоне с переселенцами. «В вагоне грязь и

теснота. Мы все знаем товарные вагоны, но не рассматривали их никогда с точки зрения перевозки людей. Они предназначаются для кладки или скота; но если представим, что в них перевозится несколько тысяч людей, то можно вообразить, что́ происходит. Начиная с того, что вагон этот на полтора аршина от земли, а в него приходится влезть целой семье с детьми; кладутся две плахи, по которым предоставляется взбираться, причем многие падают, и, наконец, кое-как взгромождаются. Помещаются кое-как, вповалку; на станциях с короткою остановкой не выходят даже за водой. Когда наступила ночь, переселенцы сначала сидели на отдельных досках, на которые улечься нельзя; наконец, утомление взяло свое, и буквально весь грязный пол был покрыт людьми, целую ночь слышались вопли и плач детей. В этой грязи и духоте невозможно было выдержать ночь даже вполне здоровому человеку...»

Не знаю, может быть, потому, что я осматривал приготовленные баржи еще пустыми, т. е. без пассажиров, но мне казалось, что здесь не будет того удушья, той грязи, того чисто «скотского» нагромождения, которые наблюдались в вагонах, служащих попеременно для перевозки товара и скота, и переселенцев.

На реке стояли рядом две баржи, касаясь друг друга бортами; на них возвышались мачты и развевались по ветру торговые флаги. Трудно представить, как веселили эти цветные тряпки настрадавшиеся сердца переселенцев!.. Первая огромная баржа была соединена с берегом небольшим мостиком на тоненьких сваях и притянута крепкими канатами.

Пока приводили в порядок ожидающую отправки толпу, пока съезжались и сходились лица, заведующие переселенческими делами, я перешел этот маленький мостик и вступил на баржу. Это было судно, длиною в 35 сажен и в пять сажен шириной, выстланное прочными досками в виде пола. Здесь, на палубе, складывается багаж переселенцев и покрывается брезентом. Тут же стоят чаны с кипяченою водой, с ковшами и кранами, здесь же настроены небольшие домики — один для «водолива», изображающего, кажется, начальство

на барже,— другой для фельдшерицы, где помещается бесплатная аптека и крошечная больница; в третьем домике находится кухня с плитой и тремя котлами. За проезд до Томска берется с души, как мне сказали, по пяти рублей, а с детей — половина.

Я подошел к одному из люков, ведущих в глубину баржи, и по деревянной лестнице опустился на ее дно, т. е. в то самое место, где будут размещены пассажиры, называющие свою «каюту» попросту — ямой. Она, действительно, похожа на яму, потому что в ней нет ни дверей, ни окон, ни перегородок, и свет в нее проникает исключительно в верхние четыре люка, которые, впрочем, в ненастье закрываются наглухо... Можно себе представить, что делается тогда в этой 35-саженной комнате без малейшего луча света, без доступа свежего воздуха.

Когда, выбравшись из «ямы», я вышел на палубу и взглянул на берег, то берег был буквально весь усеян народом. Опять виднелись в изобилии хохляцкие лица, шапки, соломенные шляпы, русские картузы и русские лица, рубахи, пестрые жилеты, сермяги, лапти, заплаты, босые ноги... Внизу, почти под мостом, две-три бабы, нагнувшись к воде, полоскались: одна мыла белье, другая ноги, третья, хохлушка, посуду или, вернее, черепки. Среди гулкого неясного говора кричали и плакали дети, кашляли, кряхтели, вздыхали...

На мостике, у самого входа, стояли уже должностные лица и готовились к приему пассажиров. Тут был чиновник по переселенческим делам, по народному прозвищу — «переселенный», медик-студент, два-три матроса, один — с бумагой,— вероятно, со списком,— другой со счетами.

— Вороньковцы!— закричал вдруг матрос.— Вороньковская волость!

Толпа «вороньковцев» выступила вперед.

— Выбрали старосту?

Те отвечали, что выбрали, и, как бы в подтверждение, из толпы выделился мужик, на обязанности которого было знать все вороньковские семьи, для того чтобы не было подменов.

— Вороньковцам идти на дальнюю баржу! — провозгласил матрос, и прием начался.

Каждую семью, а может быть, и каждого человека проверяли по списку, откладывали на счетах и спрашивали о здоровье. С детьми поступали несколько строже. Студент раскрывал им рот деревянною лопаткой или щепочкой и осматривал горло. Только после этого их уже пропускали.

Однако, как показывает действительность, такой осмотр не гарантирует переселенцев и их детей от болезней. В дороге большинство захварывает, и бывают случаи, когда привозят на барже сразу несколько трупов.

Громадная смертность, стоющая иным потери целой семьи, является важною причиной обратного движения с полпути, другими словами — бегства. И рискованно винить такого человека за малодушие, когда он лишился жены и детей, потерял в дороге весь свой капитал и бежит на родину сиротой и нищим, желая в отчаянии умереть именно там, а не на новой земле, которую он не знает, но которая уже лишила его всего дорогого, и он бежит без оглядки назад, притесняемый голодом и холодом, подозреваемый в корысти, чуть не в кулаческих несбывшихся надеждах, и если мы не можем понять его горя, то должны хотя воздержаться от презрения к нему и от клички «дармоеда» и «лежебоки», что иногда случается с людьми интеллигентными по поводу возвращения переселенцев.

Впрочем, причины «бегства» бывают разные: возвращаются по климатическим условиям или вследствие религиозных и бытовых розней, возвращаются из-за неудавшегося кулачества; но есть и такие, о которых я только что говорил.

Несколько часов длится этот прием на баржу, иногда встречаются раздирательные сцены, когда больного ребенка не пропускают, и вся семья из-за него должна оставаться на берегу, ожидая его выздоровления либо смерти. Бывают случаи и более печальные, когда родители покидают больного ребенка на произвол судьбы, а сами уезжают без него дальше. Казалось бы, нет и не может быть таких причин, не может человек дойти

до такого зверства, до такого полного жестокосердия; однако факты налицо, и их возможно объяснить лишь крайнею нуждой и временным, даже минутным отчаянием. Такие сироты называются здесь «божьи дети». Родители их либо умерли в пути, либо, спасая остальную семью от нищеты и голода, пожертвовали ребенком, больным, по их мнению, безнадежно. Дожидаться его смерти у них не хватает более ни сил, ни денег, и они уходят дальше без него, считая его все равно погибшим. Большинство оставленных, конечно, не выздоравливает, но бывают случаи, когда ребенок поправляется и вступает в разряд «божьих детей».

XVI

По реке Туре

Помимо пароходного передвижения, существует еще другой способ, даже два: более богатые переселенцы покупают лошадей и телеги и пускаются целыми обозами в дальнейший путь; этот соблазн так велик, так хочется всем поскорее разделаться с томительною и убыточною остановкой, что даже исстрадавшаяся беднота приобретает себе тележки или тачки и, впрягаясь в оглобли, тащит на своих плечах эти тачки с детьми и пожитками. В дальнейшем пути я встречался с такими обозами и «самоходами», как называют в Сибири пеших переселенцев, и речь о них будет впереди.

Начинало уже смеркаться, когда я снова вышел на затихшее, словно задремавшее поле, унизанное народом и палатками. Глядя на эту ширь и простор, на всю эту присмиревшую бедноту, мне невольно вспомнилось из Руслана:

«О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?..»

Кто на тебе со славой пал?
Чьи небо слышало молитвы?..

И воображению моему представлялась гигантская сказочная голова, которая словно огромный курган сре-

ди поля возвышается над костями и черепами и которая, может быть, как в сказке, поведает мне печальную истину...

И точно: в стороне от палаток, на окраине поля, возвышался курган, на котором шевелилась человеческая фигура. Я подошел ближе. Это был мужик, вероятно, поденщик, ковырявший вершину кургана лопатой. Курган был круглый, вышиной в сажень и шириной сажени в две. Обходя его, я увидел на нем несколько порожков и взобрался по ним на вершину. Отсюда все поле было видно «как на ладони».

— Что это за курган?— спросил я мужика.

Тот поглядел на меня, почесал затылок и не спеша ответил.

— Куча.

Под словом куча я понимал нечто наваленное небрежно, кое-как; но эта «куча» была тщательно округлена и выровнена, точно для выставки; от времени она даже кое-где покрылась травкой...

— Куча,— повторил мужик, вероятно, заметив, что я не верю. — Простая куча!.. От самоходов за прошлое лето осталась...

В заключение он добавил еще одно резонное объяснение, после чего я уже не сомневался, что это был не курган, а именно—куча...

За целый день я устал и проголодался. Часов в 9 вечера я позвал к себе Игнашку, чтобы заказать самовар и ужин, но Игнашка только свистнул в ответ и засмеялся.

— Какой теперь ужин!— сказал он удивленно. — Теперь все кончилось.

Не только ужина, но и холодной закуски мне не могли предложить в этой лучшей в городе гостинице. Впрочем, Игнашка меня выручил.

— Давайте скорей денег,— обратился он ко мне, тряся передо мною протянутой рукой.— Давайте, сбегаю скорей хлеба куплю. Чаю с хлебом попьете — и ладно будет.

Добродушно посмеиваясь над моею оплошностью, Игнашка взял у меня двугривенный и побежал стрем-

глав, уверяя, что через полчаса и этого нигде не найдешь.

Самовар кипел у меня уже на столе, когда вернулся Игнашка с веселым торжествующим видом. Он положил мне хлеб и сдачу и, подмигивая, объявил, что успел купить на гривенник колбасы.

— Я уже велел мамаше ее поджарить. Ничего, теперь вкусно поужинаете.

Правильного пароходства в Тюмени не существует, и пассажиров отправляют без расписания — когда вздумается; поэтому здесь можно просидеть, в ожидании парохода, несколько суток. На мое счастье, пассажирский пароход отходил на следующее утро в 9 часов, но заботливый Игнашка поднял меня с 5-ти, уверяя, что иначе можно опоздать. На самом же деле езды до пристани было не более десяти минут.

К нашему пароходу привязали баржу с арестантами, и в назначенный час мы «отвалили» от пристани и «пошли» по реке Туре, течение которой очень извилисто, а берега однообразны; зато попутчики попались очень веселые. Между прочим, с ними ехал тюменский торговец, балагур и хитрец, которому пальца в рот не клади. Он рассказывал нам обо всем: о ценах на масло и хлеб, о том, как местные кулаки скупают дешево рыбу из лодок, о том, почему шкурка молодого оленя называется *пешкой*, а подростка *неплюйкой*, рассказывал много об остяках[41] и даже пропел остяцкую песню, которая, по его словам, является самою простодушною, самою бесхитростною импровизацией всего, что попадается остяку на глаза. Например, едет остяк в лодке и поет, глядя на реку и на берега:

Лодка — моя,
Весла — моя.
Вода — моя.
Лес — мой,
Солнце — моя,
Рыба—моя... и т. д.

Вообще, что бы ни увидал он — небо ли это, или трава, или птица,— все он называет своим и поет про это...

Но более живо, более с интересом рассказывал наш попутчик о таких делах, где кто-нибудь кого-нибудь надувал и обманывал, и лицо его во время таких рассказов выражало полное ликование.

«Один раз сюда генерал заехал,— говорил между прочим рассказчик. — Нужно ему было сукна купить для войска... Вот, хорошо... Назначили ему цены, а один купец взял да дешевле всех запросил... Хорошо... Купил генерал сукна, а торговцы обиделись и донесли ему, что вас, мол, ваше превосходительство, обманули: сукно-то коровьей шерсти, а не овечьей. Рассердился генерал, призвал купца и кричит на него: «Ты что же, такой-сякой, обманул? Какой ты мне шерсти сукно продал?» А купец говорит: «Известно, овечьей». — «Врешь, такой-сякой! Это коровья шерсть!..» Посмотрел на него купец да и говорит: «Ваше превосходительство, вы сколько лет на свете живете? (А генерал уже старик был). Много, небось, в своей жизни испытывали, а видали ли, ваше превосходительство, чтобы где-нибудь коров стригли?..» Генерал задумался. «В самом деле,— говорит,— нигде не видал; и своих коров имел, но чтобы стричь их,— никогда не слыхивал!..» А купец говорит: «Это, мол, вам на смех сказали... со зла!..» «Вот какие дела-то в старину бывали!— с удовольствием заключил рассказчик и долго смеялся, восхищаясь обманом. — А ведь сукно-то было коровьей шерсти!»— несколько раз повторял он, даже тогда, когда мы вышли на палубу.

Странно было видеть среди пустынных берегов Туры одинокий деревянный крест, стоявший над обрывом, и, глядя на него, невольно слагался вопрос: чья это могила? И невольно приходила на мысль кольцовская песня[42]:

Чья жизнь отжилася?
Чей кончился путь?..

Вскоре пароход наш вошел в реку Иртыш, в тот самый Иртыш, где, по преданию, погиб завоеватель Сибири Ермак. Кто-то из попутчиков впоследствии указывал предполагаемое место его гибели: но оно было пустынно и дико, и я не заметил там ни креста, ни камня,

ни простой тычинки, которая остановила бы внимание путника. Вообще к памяти великого покорителя Сибирь отнеслась довольно равнодушно. Хотя в Тобольске и поставлен Ермаку мраморный обелиск, но, принимая во внимание богатство края, можно было отважиться сибирякам и не на такой памятник.

На следующий день после отплытия, около полудня, перед нами вдали показался город Тобольск на высоком берегу Иртыша. Пароход приветственно загудел и вскоре остановился у пристани.

XVII

Город Тобольск

При имени Тобольской губернии невольно вспоминаются «решения» и «уложения» и все, что, «на основании статьи такой-то», приводит ежегодно сюда массу людей на известный срок. Здесь даже и грамотность пошла от ссыльных шведов[43], которые в 1713 г. завели здесь школу; так как это были люди образованные — пленные офицеры, то успех они имели огромный, и к ним присылали для обучения детей из отдаленных мест. Сюда сослали даже углицкий колокол[44], который в свое время подвергся полному наказанию, как живой преступник, по всем правилам; его выдрали плетьми, оторвали ухо и закабалили в Сибирь. Носится слух, будто колокол не достиг места своего заточения и при перевозке утонул не то в Тоболе, не то в Иртыше, и вместо настоящего «преступника» привезли в ссылку поддельный. Как бы то ни было, но ссыльный колокол находился в Тобольске триста лет и только года два или три тому назад его простили и вернули в Углич. По народной молве, это был *первый ссыльный*; с его «легкой руки», если можно так выразиться про колокол, началась сюда ссылка и людей; теперь его увезли обратно,— и, следуя народному поверью, можно надеяться, что Тобольск не станет более пополняться преступниками, а будет предоставлен мирному просвеще-

нию. Город стоит во главе такой обширной губернии, что если Германию и Австрию, взятые вместе, сравнить с нею по пространству, то Тобольская губерния окажется несколько попросторнее. Зато народонаселения в ней едва-едва наберется полтора миллиона, причем статистика свидетельствует о недостатке в женщинах: по губернии на 100 мужчин приходится только 96 женщин, а в городах и того меньше — 88. Однако именно с женщинами и приходится считаться Обществу трезвости, хотя в сущности и женщины, и Общество трезвости борются против одного и того же — против кабацкой водки; разница только во взглядах. Общество, на пагубу водке, устраивает чайные с читальнями и туманными картинами[45], а женщины гонят так называемую «самосидку», которая за крепость и едкость вкуса особенно ценится и даже предпочитается кабацкой водке. Конечно, это домашнее винокурение преследуется, но самосидку все-таки гонят чуть не в каждом селе, преимущественно женщины, где-нибудь в хлеву, в лесу, на так называемых «каштаках». Большею частью ее гонят зимой, перед праздниками, и у кого нет своих приборов, тот отдает свою муку мастерице с платой за ведро водки 25—30 коп. Из пуда муки выходит около четверти водки. Самосидка, несмотря на свою незаконность, все-таки удерживает «слабых мужей» от шатания по кабакам...

Судьба положительно преследует город Тобольск пожарами: в 1843 г., будучи еще не городом, а только острогом, он сгорел, но вновь построился и вновь сгорел; наконец, когда город уже разросся, случился опять пожар в 1888 г., когда сгорел монастырь с семинарией, девять церквей и более тысячи обывательских домов. Даже накануне моего приезда случился пожар, немаловажный по своим последствиям: сгорело временное помещение губернского суда со многими «делами» и решениями... Может быть, это фатальное несчастье и было причиной того, чему я сначала удивлялся: проезжая городом, я нередко встречал вывески с четкою надписью «*раскурка табаку*». Такие вывески встречались обыкновенно возле трактиров, на плохеньких до-

щатых террасах. Сначала я думал, что здесь торгуют каким-нибудь особенным табаком или по крайней мере существует для народа раздробительная продажа, вроде того, что за грош предлагается выкурить трубку, но оказалось вовсе не то. В городе курить вообще на улицах воспрещено, и для этого отведены места на трухлявых трактирных террасах, именно там, где обозначена эта «раскурка».

На высоком холмистом берегу Иртыша, подобно кремлю, возвышаются белые каменные постройки присутственных мест[46], собор, колокольни и башенки старинной ограды; здесь же находится тюрьма и музей, а собственно «обывательский» город раскинулся в низине, у подошвы этих холмов, с незатейливыми постройками и тихими улицами, выстланными досками. Еще до прихода Ермака там, где Панин бугор, стоял татарский город Бицик-тура, т. е. женин город, вероятно, резиденция одной из жен Кучума, хана Сибирской орды. Предполагают, что городок был разрушен казаками и оставлен. После основания Тюмени в 1587 г. повелено было голове Даниилу Чулкову плыть с 500 казаками на устье Тобола и основать там город, что и было исполнено в том же году. Сначала это был небольшой острог под именем Тобольска, а потом, то сгорая дотла, то разрастаясь, то опять сгорая и вновь застраиваясь, Тобольск мало-помалу занял прочное положение и в 1708 г. назначен был губернским городом, куда входила не только вся Сибирь и нынешняя Пермская губерния, но и часть Вятской губернии. Тобольск процветал, пока находилось в нем Главное управление Западной Сибирью; но когда это управление перенесли в Омск и Сибирский тракт благодаря этому изменился, то Тобольск остался в стороне, присмирел и заглох, и оживляется теперь только в летние месяцы, когда подплывают к нему суда и пароходы. Тем не менее он твердо отстаивает заветы своих пленных просветителей и, помимо школ, семинарии и гимназии, год от года увеличивает число ученых и благотворительных учреждений; между прочим здесь существует (уже более четверти века) общество, которое оказывает помощь молодым людям, окончившим

курс в средних учебных заведениях Тобольской губернии и поступающим в высшие заведения...

Музей находится в нагорной части города, в саду Ермака, и помещается в собственном каменном здании, вместе с метеорологическою станцией*. Как и в других музеях уральских и сибирских, здесь собраны коллекции растений, рыб и птиц, зверей и насекомых, минералов, монет и принадлежностей инородцев здешнего края: идолы, костюмы, оружие, домашние рукоделия. Но помимо общего интереса собранных предметов, которые можно видеть во многих других музеях, здесь находятся вещи чисто местные, имеющие прямую связь с историей Тобольска.

У самого входа помещается точная копия ссыльного колокола; оригинал, как я уже сказал, был «прощен» и недавно отослан обратно в Углич. Это небольшой колокол, вышиной в 1 аршин и 1 вершок, опоясанный рельефною надписью, объясняющею его печальную судьбу. Ввиду исторического интереса я приведу эту надпись с подлинною орфографией.

«Сей колокол, в которой били в набат при убиении благоверного царевича Дмитрия 1593 году. Прислан из города Углича в Сибирь в ссылку во град Таболск к церкви всемилостивого Спаса что на торгу а потом на Софийской колокольне в часобитной. Весу в нем 19 п. 20 ф.»

Кроме колокола, здесь находятся другие исторические предметы: маленькие, почти игрушечные пушки, которыми Ермак наводил ужас на татарские полчища, кольчуга, шлем и колчаны хана Кучума, старинное вооружение, образцы стеклянной посуды Тобольской фабрики, с 1749 по 1848 г., и работы пленных шведов: орел со шведской башни, весы 1718 г., глиняные картины ссыльного Цезика, изображавшего в барельефах грустные житейские сцены; выставлена обширная коллекция каторжных клейм, которые выжигались на теле преступников, и, наконец, собрано пять портретов

* К 1 января 1893 г. в коллекциях музея числилось 5863 предмета, в библиотеке 2300 названий, а в кассе денег 469 руб. 61 коп.

Ермака, старинной работы, 1581—1584 гг.* Между прочим здесь находится громадных размеров скелет тура, допотопного быка; по уверению провожатого, таких редких экземпляров всего два: один в Стокгольме, а другой здесь.

При входе в музей, там, где помещается ссыльный колокол, стоит витрина с разными изделиями из мамонтовой кости; это мундштуки, ножи, папиросницы и т. п. Все эти мелочи, исполненные очень недурно, выставлены здесь для продажи.

Музей находится на одном конце парка, а на другом конце, на самом краю холма, за сквозною чугунною решеткой, изображающею копья, воздвигнут памятник Ермаку: на каменном пьедестале поставлен высокий каменный шпиц; на всех четырех сторонах его вырезано сверху по золоченой ветви, а снизу начертаны объяснительные надписи. Памятник воздвигнут в 1839 г., на одной из сторон его имеется дата «1581», что обозначает год вступления Ермака, после знаменитой битвы с Маметкулом, в Искере[47]; в честь этого события, решившего покорение Сибири, в Тобольске установлен 26 октября местный праздник.

XVIII

Памятник Ермаку

Вокруг не было ни души. Отворив калитку, я вошел в небольшой садик, где в беспорядке росли цветы, коегде торчали, тоже в беспорядке, кусты смородины и княжники, в траве лежали пушки; вот и вся обстановка, среди которой возвышается мраморный обелиск, предназначенный увековечить память завоевателя Сибири.

Эта ли беззаботная обстановка или тишина и безлюдье повлияли на меня, но только мне сделалось вдруг

* По словам Карамзина, Ермак был «видом благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лицо плоское, но приятное, бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зерцало души пылкой, сильной, ума проницательного...» Приблизительно таковым Ермак изображен и на портретах.

почему-то грустно и жутко, точно я стоял не перед монументом, но попал на чью-то одинокую могилу. И этот высокий холм, и тихий запущенный садик, и решетка вокруг него с чугунными копьями — все напоминало кладбище, а мраморный шпиц, не выражающий ничего определенного, все равно как продажный кладбищенский памятник, готовый вещать своею надписью об Иване Ивановиче или о Петре Петровиче с одинаковым безразличием, так и этот одинаково годный для Ермака и для Сусанина, и для кого угодно,— возвышался и светился на солнце, но говорил не столько о славе и подвигах, сколько об общей человеческой участи — смерти.

Может быть, не всегда бывает здесь так безлюдно; может быть, в этом саду гуляют горожане, резвятся дети, слышатся человеческие голоса; но в это время был я только один среди безмолвия и безлюдия. Отсюда с холма открывалась прекрасная картина на лежащий внизу город, и невольно, глядя на окрестные холмы и лощины, воображению рисовались старинные битвы, когда горсть храбрецов отнимала у татар целое царство и десятком выстрелов обращала в бегство многотысячную конницу, готовую растоптать копытами отважных пришельцев. «Стреляют огнем и громом!— в ужасе кричали про них татары,— и стрел не видно, но огонь их прожигает латы и убивает насмерть!»

Проходит в памяти ряд блестящих картин победы и славы; но вот сменяются они другою картиной: бурный Иртыш, ненастная осенняя ночь, перерезанные казаки и непобедимый Ермак, бросающийся в волны,— в свою могилу...

Где, в самом деле, настоящая могила великого атамана? Труп его вытащили из Иртыша татары и, наслаждаясь запоздалым мщением, во главе с побежденным царем Кучумом, шесть недель сряду пускали в Ермака стрелы; по словам летописцев, над трупом его летали стаями хищные птицы, но не смели его коснуться, и страшные видения и сны заставили, наконец, татар схоронить атамана на Бегишевском кладбище под кудрявою сосной; в день погребения они изжарили и съе-

ли будто бы 30 быков, а доспехи Ермаковы разделили между жрецами и князьями. В страшные сны напуганных дикарей еще можно верить, но дальше летописцы грешат, уверяя, будто над могилой Ермака совершались многие чудеса: сиял яркий свет и пылал столб огненный, пока духовенство магометанское, испуганное их действием, не нашло способа скрыть эту могилу, «ныне никому неизвестную», как говорит Карамзин.

Между прочим носится слух, за достоверность которого не ручаюсь, будто бы памятник-обелиск был приготовлен не для Ермака, а в честь посещения Тобольска в 1837 г. покойным императором Александром II, в бытность наследником престола, но в силу высочайшей воли назначение обелиску дано было совершенно иное, т. е. обращено во славу покорителя Сибири*.

Близилось к вечеру, а парохода, который должен был прийти из Тюмени часа через три после меня, все еще не было, хотя я прибыл сюда утром.

— Скоро ли придет пароход?— справлялся я несколько раз на пристани.

— А кто знает!— отвечали мне. — Может, нынче придет, может и завтра. Скорей всего в ночь будет.

Погода стояла дождливая. Дожидаться парохода на берегу было далеко не заманчиво, но ехать в гостиницу было еще того хуже, потому что пароход, если явится ночью, то ночью же и уйдет,— стало быть, придется дожидаться второго.

— А когда пойдет другой пароход?

— Может, через два дня, а может, через неделю. У нас определенного нет расписания.

Действительно, Тобольск в этом случае в полной зависимости от Тюмени, а Тюмень высылает пароходы «когда вздумается», т. е. по мере накопления груза.

От нечего делать я пошел бродить по базару, пестревшему всякими товарами: тут навалены в кучу сапоги,

---

* В географическом словаре Семенова[48], источнике вполне авторитетном, тоже сказано, что памятник Ермаку открыт в 1839 г. по *Высочайшему повелению.* Эта заметка до некоторой степени подтверждает приведенные выше слухи.

там торчат сибирские оленьи шапки, рядом с туязами (берестовые бураки), из двери лавки выглядывает голова еврея либо слышится голос торговца: «Чтó покупаете?».

А на пристани все еще тихо, и на реке не видно ни одного судна.

— Да вы на конторке ночуйте,— посоветовал мне кто-то из пароходной прислуги.

Ночевать «на конторке» это означало вот что: на пристани выстроен домик в две или три маленькие комнатки — для прислуги, для дам и для мужчин; по крайней мере та мужская комната, где мне предложили провести ночь, была очень маленькая, вроде каюты, с двумя оконцами и скамейкой во всю стену, как раз в средний человеческий рост; скамья и пол возле нее были завалены чемоданами и узлами, неизвестно кому принадлежащими; кроме скамьи, мебели было только стул да крошечный столик. Вход сюда имеет всякий желающий, без спроса, без дозволения, даже без надобности.

Когда я вошел, «на конторке» заседала целая компания, и мне едва-едва удалось пристроиться на своем чемодане, лежавшем здесь с утра без всякого присмотра. На полу, поджавши ноги, сидел казак в солдатской шапке, за столом дремал студент, и на нескольких узлах и ящиках удобнее прочих устроился пожилой господин в ватном пальто и в белых чесучевых панталонах, заправленных в сапоги.

— И вы на пароход?— спросил он меня сейчас же, едва я вошел. — Садитесь. Будем вместе сидеть.

Очевидно, он был охотник поговорить, либо ему было очень скучно; он начал расспрашивать, далеко ли я еду, зачем и откуда; при этом он объяснил про себя, что зовут его Иваном Ивановичем и что едет он «на Семипалатну».

В Сибири почему-то принято называть некоторые города сокращенно, по-старинному. Так, например, нынешний Челябинск зовут Челябой, Тюкалинск — Тюкалой, Семипалатинск — Семипалатной.

XIX

На конторке

Прошел час, потом два, но о судьбе парохода никому не было известно. Было даже похоже, что никто этим и не интересуется. Несколько раз выходил я «с конторки» на пристанскую палубу поразмять ноги и глядел на пустынный Иртыш, а если и обращался к какому-нибудь рабочему, желая узнать, когда придет пароход, то получал один и тот же равнодушный ответ.

— Нам это неизвестно.

— А кому же известно?

— Да никому. Спросите кассира.

Но и кассир отвечал, что не знает.

— Может быть, сию минуту придет, а может быть и поутру.

Между тем наступала ночь.

Кстати сказать, здешнее время значительно разнится с московским: когда в Тобольске полночь, то в Москве 2 часа утра.

С наступлением сумерек город мало-помалу затихал; опустели и без того пустынные улицы, замолкли голоса на базаре, попрятались торговцы со своими оленьими шапками и туязами, стали гаснуть огни... У ног моих плескался широкий сердитый Иртыш, над головой сияли звезды, и, несмотря на полночь, восток начинал уже румяниться зарей: летние ночи здесь бледны и коротки, почти незаметны.

Пришли мне на память другие ночи, ясные, изумрудные ночи Востока, с их молчаливой истомой; припомнились южные нежные ночи с морским воздухом, с одуряющим ароматом апельсинных цветов, с чуть уловимыми отзвуками мандолин и песен... Вспомнились, наконец, наши родные ночи, такие же тихие и унылые; но и у нас цветут в мае яблони и жасмины, чего здесь не было и нет, и у нас широко катятся речные струи, но есть здесь разница, есть какая-то неуловимая разница между нами и теми, над которыми в эту тихую летнюю ночь возвышается на холме египетский профиль памят-

ника и музей с его каторжными клеймами и ссыльным колоколом. Впереди виднелось речное пространство, а за ним расстилалась долина, может быть, даже степь — гладкая, ровная и пустынная...

Когда я вернулся на «конторку», на моем месте сидел какой-то юноша и восторженно глядел на Ивана Ивановича, а тот, развалясь на узлах, рассказывал ему мерным, ленивым голосом историю, которую, вероятно, только что выдумал от нечего делать.

С чего начался рассказ, я уже не застал, но Иван Иванович говорил так:

«Вошли мы это в домик... Комната как комната... Пора спать ложиться. Пестрых мне и говорит: «Я раздеваться не стану». А у него под жилетом было 22 тысячи хозяйских денег зашито. Ну, затворили мы дверь, заперли на крючок; я и думаю — осмотрю-ка я комнату. Гляжу, стены как стены... так. Окна с двойными рамами... хорошо. Подергал, потрогал — ничего. Потом гляжу, печка стоит... так. А около печки коврик положен... и это ладно. Я взял да коврик ногой и подвинул; гляжу — э-э! — в полу-то дыра!.. Только дыра эта забрана досками. Думаю: ладно!.. А кругом тишина, лошадей угнали, хозяева тоже спать легли. Говорю Пестрыху: «А ведь мы, брат, попали». Пестрых испугался, хотел сейчас же бежать... А куда ночью уйдешь? Только покажи вид, что струсил, сейчас тебя доканают. Надумались мы с ним; видим — нехорошо. А уж до утра не миновать оставаться».

Мало-помалу Иван Иванович привлек к себе общее внимание. Все слушали его с интересом; казак даже встал и подошел поближе.

«У Пестрыха была с собой шашка,— продолжал Иван Иванович. — Вот я и говорю: «Положи ее на пол, а сами будем храпеть, будто спим. Поставили мы на блюдце огарок, накрыли его горшком, чтобы стало темно, только оставили маленькую щелочку, чтобы чуть-чуть освещался ковер, так, чтобы нам было его заметно. Ну-с, легли, захрапели, будто спим, а сами во все глаза глядим на ковер. Вдруг коврик зашевелился... Ага! думаю. Ну да ладно. Взял я шашку и подхожу потихоньку к

печке. Смотрю, ковер шевелится сильнее... потом рука показалась. Размахнулся я да как бац его по руке шашкой!— все и спряталось, ничего не слышно. Вдруг через час за дверью тук-тук-тук!.. Мы опять храпим, словно не слышим. Опять стучатся. Мы храпим. А уж рассветать начинало. Как только рассвело, мы давай скорей выставлять раму. Выставили да в окошко на улицу, да давай бог ноги!»

— А как же вещи-то?— спросил казак.

Иван Иванович сначала крякнул и, подумав немного, ответил:

— Добежали до почтовой станции, взяли тройку и заехали за вещами. Конечно, тут уж ничего опасного не могло быть.

Вряд ли кто поверил в историю Ивана Ивановича, но, рассказанная здесь, среди ночи и томительного безделья, она все-таки произвела впечатление. С его почина разговор сделался общим, а время незаметно сократилось часа на два.

Забрезжил рассвет.

На «конторку» заглянул служитель, вероятно, с целью проверить, что за народ собрался.

— Приятель!— обратился к нему Иван Иванович. — Нельзя ли мне самоварчик поставить?

— Для одного не стоит,— равнодушно ответил тот.

— Я тебе заплачу, сколько следует.

— Нет, одному не стоит.

Он лениво махнул рукой и вышел.

— Эй, постой!— крикнули ему все. — Поставь самовар, все будем пить.

Служитель просунул голову в дверь и решительно заявил.

— Не стоит... Не время!..

После этого он захлопнул дверь и самовара не подал.

Иван Иванович рассказывал еще много, обращаясь уже ко всей компании. Он всех смешил, но сам был серьезен, хотя рассказывал действительно курьезные вещи. Несмотря на позднее время, никто из нас не спал, и эта ночевка «на конторке» благодаря Ивану Ивановичу оказалась довольно веселою.

Наконец, часа в 3 утра, раздался вдалеке продолжительный крик парохода, и все мы вышли на пристань. Среди речного простора как-то особенно гулко и властно разносился этот басистый голос, минут пять тянувший беспрерывную ноту: «у-у-у!..» А вскоре, пыхтя и шумя, подплыл к пристани небольшой пароход, за которым на канате тянулась грузовая баржа.

Публики ехало немного, и мы удобно разместились в каютах.

Река Иртыш считается шириною в 500—700 сажен, а глубиною 8—12 сажен; вскрывается в Тобольске к концу апреля, мерзнет к началу ноября; течение ее быстро и извилисто; весенние разливы простираются на 5—15 верст; воды ее изобилуют рыбой — стерлядью и нельмой, а по берегам добывают местами кости мамонта. Поэт Ф. Миллер[49], характеризуя русские реки, говорит от лица Иртыша:

Я отомстил Ермаку, покорителю царства Кучума:
В волнах сердитых моих завоеватель погиб.

Правый берег значительно выше левого; иногда он представляет собою высокую песчаную стену, тогда как с другой стороны раскидывается почти от самой воды до горизонта гладкая степь.

XX

Иртыш и город Тара

От Тобольска до Омска расстояние по реке — с небольшим тысяча верст. Легкий пароход прошел бы это в трое суток, но мы тащили за собою баржу с грузом в 60 тыс. пудов, т. е. локомотив, вагоны и разные принадлежности к новой Сибирской дороге, поэтому и плыли верст от 5 до 8 в час и прибыли к Омску через восемь суток.

Если б за это время вести дневник, то, резюмируя впечатления дня, получилось бы именно то, что полу-

чилось в лаконическом дневнике Ивана Ивановича. Он записывал на листе бумаги:

День первый. — Едем медленно.
День второй. — Однообразно и скучно.
День третий. — Начинает надоедать.
День четвертый. — Тоска.
День пятый. — Ох, Господи!
День шестой. — Да скоро ли?..
День седьмой. — Чёрт знает что такое!
День восьмой. — Наконец-то!!.

В нашей каюте, довольно длинной, но очень низенькой, помещалось, кроме меня, только двое: студент да тобольский учитель, молодой человек, который весь день стукался головой о перекладины низкого потолка и, наконец, стал жаловаться на головную боль. Иван Иванович пристроился где-то в отдельной каюте и показывался только по вечерам.

За целые сутки была лишь одна остановка у глухого пустынного берега, где сложены были дрова да стояло несколько баб. Пароход запасся дровами, которые, кстати сказать, здесь стоят 1 руб. 50 коп. за сажень, а пассажиры запаслись молоком, яйцами и хлебом. На следующие сутки остановки не было ни одной, и весь день, как брат родной, был похож на вчерашний. Впрочем, все эти восемь дней мало чем отличались друг от друга. Поутру умываешься бурой водой — до такой степени бурой, что, взяв ее в горсть, сомневаешься, будешь ли от нее чист или, наоборот, грязен; после умыванья берешь из котла кипяток, завариваешь чай и опять с непривычки сомневаешься — пить или не пить, потому что кипяток походит на разведенный крахмал или, вернее, напоминает своим видом свинцовую примочку. Конечно, этот грязный чай и грязное умыванье смущают только на первое время; говорят, нет такой гадости на свете, к которой не мог бы себя приучить человек; и действительно, на третьи сутки мы примирились с водой. После чаю выходишь на палубу и глядишь на быстрое течение Иртыша, на его бурую воду, на пустынные берега, потом сидишь или валяешься на

койке в каюте, опять гуляешь по палубе, опять уходишь в каюту — и так из часа в час, изо дня в день. Иногда встречаются по берегам русские деревни или татарские селения с деревянными бедными минаретами; иногда попадаются по пути легкие челноки рыбаков, выдолбленные из древесного ствола*; быстрое течение и пароходные волны качают эти челны так сильно, что страшно становится за рыбака, а тот, небрежно поглядывая в нашу сторону, плывет себе, куда нужно, отпихиваясь по воде одним веслом, похожим на короткую лопату; иногда мимо нас пролетают дикие утки, вытянув шею и нос в одну линию, встречаются побережные рощи, преимущественно березовые, или над самою водой склонившиеся ивы, называемые здесь «тальник»; берега бывают то низкие, то сильно возвышенные и обрывистые, как стены. Впечатления, мало разнообразные, чередуются между собой, и остановка парохода хотя бы на пять минут, хотя бы возле пустынного берега является развлечением; но пароход плывет себе более суток, не останавливаясь, и пристань в Усть-Ишиме делается мало-помалу общею мечтой.

В сущности, Усть-Ишим никому не нужен, но все спрашивают: когда придем к пристани? Все интересуются, все ожидают. В ответ этим ожиданиям разносится слух, что в Усть-Ишим «придем» в полдень...

Но проходит полдень, проходит еще два и три, и четыре часа, а пристани все нет. Наконец, близ вечера пароход загудел и причалил к берегу. Матросы перекинули сходни, и публика бросилась немедленно, почти вперегонку: кто покупать хлеб и яйца, кто рыбу, кто сливочное масло и молоко.

Капитан объявил, что стоять будем два часа. Пока матросы таскали с берега на носилках дрова, которые иногда на сходнях рассыпались и падали в воду, я отправился от нечего делать в село, раскинувшееся возле берега. Там среди грязи обратила мое внимание покосившаяся избушка, с большою дырой на крыше — подобие бывшего сеновала; к стене было приставлено

---

* Обласок — остяцкий челн.

нечто вроде оглобли, а на крыльце стояла толпа мужиков, русских и татар; разговаривали они громко и беспорядочно.

— Что это такое?— спросил я молодого человека, шедшего по селу с тросточкой во франтовской фуражке. Деревенский кабак, что ли?

— О, нет! Не кабак,— серьезно и несколько рисуясь, отвечал он мне. — Это волостное правление.

Действительно, подойдя ближе, я увидал вывеску, где по серому полю желтыми, под золото, буквами было объяснено значение этой кривой избушки.

— Жить-то здесь ничего, весело,— добавил молодой человек, помахивая тросточкой.— Да только белого хлеба нет, жалко.

Сначала его печаль могла показаться забавною, но после, когда я попробовал купленный хлеб, который был пресен, шоколадного цвета, притом же с хрустом, я поверил, что молодой человек был прав. По неизвестным причинам, пшеничный хлеб бывает здесь только 2 раза в год — по большим ярмаркам. На другой день, когда мне пришлось обедать с этим «шоколадным» хлебом, я вспомнил справедливые слова: «жить-то здесь ничего, весело, да только белого хлеба нет»...

У всякого свои огорчения.

Прошло еще двое суток, но переменилась только погода; все остальное было по-прежнему. Мало-помалу все между собою настолько свыклись в каюте, что перестали считаться с собственностью, и весь провиант перешел в общее достояние: и хлеб, и яйца, и чай — все было сложено в общую кучу, и всякий пользовался чужим и своим без различия. Наконец, на пятые сутки, прибыли в Тару.

Самый город стоит от пристани верстах в двух или трех; через него шла военно-этапная дорога из Тобольска в Томск; построен он был в царствование Феодора Иоан-новича при устье Тары, впадающей в Иртыш, но после наводнения 1669 г. перенесен на высокое место, верст на 30 дальше. Это маленький городок, расположенный вокруг площади; здесь стоят четыре церкви по четырем сторонам, а на самой площади построены

палатки и балаганы. Я попал как раз на ярмарку, бывающую здесь два раза в год; продают хлебы, пряники, семечки, лыко, лопаты и разные обиходные мелочи; в этом вся ярмарка. В городе есть клуб, есть городской сад, вроде задворка, с печальною зеленью; с одного конца его стоит балаган для бильярдов, а с другого — будка[50], ибо редкий день проходит без драки; так по крайней мере объяснил мне извозчик, оказавшийся ссыльным урядником[51].

— Перепьются, ну, и в драку,— сказал он, указывая на городской сад. — Тут буфет есть со всякой всячиной. Придут писаришки, перепьются и заведут скандал, а наутро «Чижовка» полна.

— Какая Чижовка?

— Каталашка здешняя.

— Какая Каталашка?

Чижовка и Каталашка — ласкательные имена местного полицейского дома. Откуда взялись такие названия — мне неизвестно, но ссыльный урядник произносил их с видимым удовольствием: вероятно, эти слова, не имеющие для меня ни прелести, ни смысла, доставляли ему приятность и напоминали о счастливом прошлом, когда он сам был «власть и сила» и мог «сажать» и «блюсти».

Когда я вернулся на пароход, берег был уставлен множеством экипажей ветхозаветной формы, современниками Чичикова и Коробочки, а палуба занята татарками, молодыми и старыми; всего было человек 30. Среди них я заметил только двоих мужчин: одного юношу, очевидно, слугу, и другого — важного старого мусульманина, жирного и упитанного, с типичным строгим лицом. Он сидел как властный паша среди женщин, опершись рукой о колено, и что-то говорил — с достоинством, важно и строго. Это оказался здешний Крез, влиятельный помещик, к которому из Семипалатинска приехали гости, и теперь он выехал со своим семейством их проводить обратно. Глядя на него самого и на окружающие лица, на всю обстановку и на брички, дожидавшиеся на берегу, казалось, не минул еще век помещиков, широкого гостеприимства, женских тере-

мов, и жалко становилось за эту молодую «бабью толпу», которая робко, почти украдкой взглядывает на мир Божий. Вековые традиции воспретили такой женщине желания, мысль и волю; ее нарядили в шелк, увешали золотом, камнями, лентами, парализовали в ней думу, чувство, мечту, и живет она, сытая, довольная, и не дают ей сознать, что она несчастна.

Когда загудел пароход, татары удалились на берег; осталось на палубе только шесть женщин да юный слуга. Мы двинулись в путь. Наравне с нами по высокому берегу долго ехали брички; в передней сидел сам «паша» и изредка помахивал платком; женщины следовали смирно и свое участие выражали скромными взглядами. На палубе татарки тоже стояли, не шевелясь, и только глядели на движущийся поезд, начинавший мало-помалу отставать от нашего парохода. Когда экипажи исчезли за горой, татарки ушли в каюту первого класса, и более мы не видели их во всю дорогу.

XXI

По воде и берегам

Еще сутки — и еще остановка.

Подплыли к пустынному берегу. Здесь без всякого присмотра лежат дрова, которые начинают брать матросы и перетаскивать на носилках на пароход. Чьи это дрова, сколько их взяли и сколько их еще осталось — никому до этого, видимо, не было дела. Да и трудно было бы сосчитаться. Матросы таскали ровно полтора часа, накладывая на носилки, сколько вздумается: то много, то мало; при этом на сходнях некоторые оскользались и роняли поленья в воду. Конечно, никто не беспокоился их ловить, и дрова уплывали...

Пользуясь остановкой, пассажиры вышли побродить по роще, которая была тут же возле берега. Некоторые гуляли, чтоб поразмять ноги; некоторые нарвали цветов. Между прочим я заметил здесь старого солдата, который расстелил свой красный носовой платок

на муравьиную кочку и смотрел, как бегали по этому платку муравьи; потом он брал и встряхивал платок и опять расстилал его.

— Что́ это ты делаешь? — заинтересовался я.

— Дух беру.

— Какой дух?

— А вот... ихний,— кивнул он на муравьев.

В подтверждение своих слов солдат взял с кучи платок, встряхнул его, скомкал и неожиданно поднес прямо мне к носу.

Меня даже отшатнуло от резкого спиртуозного «духа», которым пропитался этот грязный лоскут.

— Старуха тут с нами едет,— добавил солдат,— голова у нее кружится, вот я ее и вылечу. Вместо спирта...

И он снова расстелил платок на муравьиной куче, желая продушить его на время более продолжительное.

Потом опять тронулся пароход, опять потянулись однообразные часы, однообразные берега: пассажиры бесцельно шагали по палубе, бесцельно сидели в каютах и терпеливо дожидались сумерек, чтобы лечь спать.

Но вечер выдался превосходный.

Я взобрался на самую вышку, где лоцманы вертят рулевое колесо.

Было часов 10 вечера, и речной ветерок становился резче и холоднее. Смеркалось; на задней барже, которую мы вели за собой на канате, подняли фонарь; от парохода заметен был волнистый след, и в этих волнах отражалось угасающее небо и золотилась молодая луна. Левый берег становился возвышенным, и вскоре потянулись один за другим песчаные крутые холмы, поросшие сверху лесом. Эти горы были уже в потемках, и небо над ними было темное, с выступающими мало-помалу звездами; но чем правее, тем небо становилось серее, бледнее, переходило в неуловимых тонах в прозрачно-зеленое, и, наконец, над противоположным берегом, открытым и пустынным, оно пылало умирающим ярко-оранжевым заревом. Налево — начиналась ночь, направо — кончался день.

На мачте зажгли фонарь... И дальний огонек баржи, и луна гляделись в реку, в ее темную, зыбкую по-

верхность и дробились искрами, точно золотые брызги среди мрачного свинцового потока. Где-то на берегу одиноко пищала запоздавшая птица да шумели пароходные колеса, и больше ничем, ни одним звуком не нарушалась эта вечерняя тишина.

И ночь, и утро, и весь следующий день опять не отличались ничем от шести уже проведенных. Так же плыли, так же томились ожиданием поскорее доплыть и, ложась спать, утешались, что все-таки сутками стало меньше.

На следующий день к вечеру остановились опять взять дрова у села Карташева, расположенного на высоком и страшно крутом берегу, который стоит над водой, как стена. Берег подмывается Иртышом и ежегодно обваливается, так что село мало-помалу отодвигается все назад. На самом краю горы я заметил в земле какие-то бревна; на мой вопрос мне ответили, что здесь, в прежнее время, было кладбище и стояла церковь, но, вследствие трещин и обвалов, эту церковь перенесли в середину села, а кладбище упразднили.

Наконец, прошли еще сутки, восьмые и последние, и на девятые мы рано утром подъехали к городу Омску, который раскинулся по правому берегу Иртыша и занял обе стороны речки Оми.

В 1716 г. это был только острог, или Омская крепость, состоявшая из земляного вала с болверками[52], рвами, палисадами и рогатками, причем каждая сторона крепости имела всего-навсего сто сажен. Скоро, впрочем, острог сделался важным стратегическим пунктом, так как войска и провиант, вывозимые на пограничную линию из Тобольска и Тары, достигали этой линии именно здесь, и вместо старой крепости была в 1768 г. построена новая по всем правилам тогдашнего искусства и снабжена несколькими бастионами, а в 1791—1792 гг. прочными каменными воротами. В 1839 г., по ходатайству генерал-губернатора, князя П. Д. Горчакова, в Омск перенесено было Главное управление Западной Сибирью и резиденция генерал-губернатора; обстоятельство это было также важно по своим последствиям, потому что близость генерал-губернаторства к Киргиз-

ской степи чрезвычайно способствовала к умиротворению всей степи и к подчинению тех из киргизских племен[53], которые считали себя еще независимыми.

Крепость стоит на пологой и незначительной возвышенности, а остальная местность является степною, ровною и почти безлесною.

XXII

Город Омск.—Легенда о киргизах

Благодаря раннему утру пристань была пуста, и пришлось идти в город пешком отыскивать извозчика, чтобы перевезти багаж и найти для себя хоть какое-нибудь помещение.

Через полчаса я уже подъезжал со своим имуществом к гостинице «Москва», как вдруг меня настиг и обогнал пароходный попутчик, капитан конвойной команды. Соскочив с экипажа, он подбежал к запертым дверям гостиницы и начал звонить и стучать.

— Комната есть?— спросил он старика, высунувшего голову.

— Есть одна. Два рубля стоит.

— За мной!— решил капитан, оставляя меня без квартиры.

В городе была еще только одна гостиница, «Европа», но и там не было места. Приходилось искать приюта в тесных и неряшливых «столовых», но капитан сжалился и предложил мне номер на половинных издержках.

Несмотря на ранний час (было часов пять утра), нам подали самовар, и к нашему чаю стали собираться мало-помалу бесприютные пассажиры, наши бывшие попутчики. Они объездили город и не нашли где остановиться. Особенно печально было положение немца, ехавшего из Берлина путешествовать по Сибири, не зная десятка слов по-русски. С ним уже случались курьезные недоразумения на пароходе, но здесь положение его было вовсе печально. Я помню этого немца где-то на берегу, во время стоянки, франтовато одетого, в

желтых легких ботинках среди побережной грязи; он и какая-то баба держались за одну и ту же бутылку: баба тянула к себе, немец к себе — и друг друга не понимали. Оказалось, что немец купил у нее бутылку молока и заплатил гривенник; но баба, продавши молоко, ни за что не хотела уступить посуду, а немец сердился, что ему не дают купленную вещь. Вышло недоразумение, которое кончилось тем, что я вынес бабе свою пустую бутылку и отдал в обмен.

— Чего ж он, охальник, из рук-то рвет!— кричала неугомонная баба, показывая на немца. — Молоко твое, а бутылка моя!

Но бедный немец ничего не понимал и только удивлялся.

Теперь его положение было значительно хуже. Но выручил его ссыльный хохол, наш прислужник. Он посоветовал отправить немца в аптеку: там, мол, его поймут. И действительно, там его поняли и пристроили и даже отыскали ссыльного немца-извозчика, который для нашего немца был сущий клад.

Паспорта в Сибири не в моде. По крайней мере с меня никто и нигде не спрашивал: довольствовались простою визитною карточкой или вопросом:

— Вы кто такое?

— Я такой-то.

— Ну, и очень хорошо.

Тем дело и кончалось; а там величайся хоть графом, если охота,— никому до этого дела нет.

Многие называют Омск уголком Петербурга; до некоторой степени это справедливо, если вспомнить Тюмень и Тобольск, не говоря уже о других соседних городах вроде Тюкалинска. Город хотя и разбросан, но здесь встречаются великолепные здания, как, например, генерал-губернаторский дом и кадетский корпус; да и помимо внешности, Омск оставляет далеко за собою многие города по количеству полезных учреждений, школ, гимназий, больниц и проч. Здесь есть учительская семинария, одна на всю Западную Сибирь, фельдшерская и ветеринарная школы, издается несколько газет, в том числе киргизская, работают не-

сколько типографий, открыта общественная читальня, библиотека, и существует музей Западносибирского географического отдела. Помимо православных церквей, есть церкви иных христианских исповеданий, а также синагога и красивая большая мечеть, с минарета которой в определенные часы дня раздается призывный голос муллы. Благодаря присутствию степного генерал-губернаторства, здесь живет много чиновников и военных, и жизнь в городе не скучна. В городских скверах два раза в неделю играет оркестр казачьего войска; Драматическое общество устраивает в клубе спектакли, а Музыкальное общество — концерты; даже здание Манежа приспособлено для театра; кроме того, устраиваются за городом призовые скачки, и вообще в развлечениях недостатка нет.

Внутри города, там, где раньше был вал, стоят в разных местах четверо ворот; стены не уцелели. Это простые каменные арки, выкрашенные в желтый цвет; на одних можно прочитать надпись: «Омские 1791 года» на других — «Тарские» и т. д.

Острог находится, по общему сибирскому обычаю, при въезде из России — первым.

Обширная площадь занята ежедневным базаром. Здесь продается все, начиная с хлеба, дров и зелени и кончая мехом и шелковою материей; здесь же торгуют киргизы, у которых можно найти цельную шкуру тигра, китайский фарфор и китайские веера; сюда же пригоняют киргизы верблюдов с разными продуктами и дровами, а на здешнюю ярмарку верблюды приходят целыми караванами, привозя масло, кожи, шкуры и, главное, сало.

Ввиду того, что киргизы здесь и около живут в изобилии, ведут крупные торговые дела и даже имеют свою газету, то и легенда о происхождении киргизов, вероятно, не будет излишней, хотя бы для немногих любителей народных сказаний.

После времен Магомета,— говорит легенда,— некто Мансур, начавший проповедовать благочестие, не был принят народом и вместе с сестрой своею был сожжен на костре. Когда дым и пламя уже охватили костер, то

оттуда раздался голос: «Я неповинен, и сестра моя невиновна!». Но когда от костей их остался лишь прах, народ выбросил его в море, и пепел внезапно обратился в белую пену и свободно поплыл по волнам... На одном из островов этого моря жила царская дочь; желая посвятить себя служению Богу и одинокой безбрачной жизни, она удалилась сюда с 40 девушками. И вот, однажды купаясь в море, они увидели необычайную пену, приплывшую к острову, а из пены слышался голос: «Я неповинен, и сестра моя невиновна». Считая это благодатью Божией, все девушки вытерлись этою пеной, а спустя некоторое время почувствовали, что все они должны вскоре сделаться матерями... Разгневанный царь приказал казнить их, но посланный палач, увидев их красоту и молодость, пожалел и отпустил их, чтобы им скрыться в пустыне. Здесь они жили, питаясь тем, что приносили им птицы и звери; а когда настало время родить, то у двадцати девушек родились мальчики, у других двадцати — девочки. Когда же дети выросли, их поженили, и, таким образом, произошло племя *Кырым-Кыз*, что означает — сорок дев.

XXIII

Острог.—Память о Достоевском

— Где тут жил Достоевский, когда был каторжным?— спросил я одного обывателя, и тот указал на дисциплинарную роту.

— Поезжайте, там скажут.

Ехать пришлось почти на конец города,— если не ошибаюсь, на берег Иртыша.

«Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов полтораста ширины, весь обнесенный кругом в виде неправильного шестиугольника высоким тыном, т. е. забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот наружная ограда острога. В

одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми».

Так описывал Достоевский место своего заключения. Точно такой же вид имеет и нынешняя дисциплинарная рота.

Когда я подъехал к ограде, калитка была заперта; но сейчас же в маленькое оконце, проделанное в этой калитке, выглянуло чье-то усатое лицо и спросило:

— Что нужно?

Я сказал, что хочу видеть дежурного офицера. Тогда оконце захлопнулось, прогремела за стеной цепь и отворилась калитка. Я вошел во двор. Солдат молча указал мне рукой на купол с крестом, который возвышался над крышей одного из корпусов, как бы желая сказать этим движением руки: иди, там тебе покажут.

Калитка за мной захлопнулась, часовой зашагал снова, и я один пошел вперед по широкому двору отыскивать дежурную комнату. Сурово и молчаливо было кругом. Высокие корпуса и решетки на окнах и надписи на зданиях, даже самая церковь — все носило на себе следы неволи и тоски.

Офицер, которого я застал в дежурной, отнесся ко мне очень любезно и предложил осмотреть помещения.

— Многие думают,— сказал он,— что именно здесь то место, где жил Достоевский, но это не верно. Тот острог давно уже сломан, и стоял он, где теперь проложена дорога, то есть около классической гимназии. Он был очень похож на нашу дисциплинарную роту, оттого, вероятно, многие и смешивают.

Прежде чем начинать осмотр, я поинтересовался узнать, что означает дисциплинарная рота и кто и за что сюда попадает.

— Здесь исключительно военные,— отвечал офицер.— Попадают сюда за всякие проступки по службе — за неисправное дежурство, за упущение арестанта, за оскорбление начальства, за буйство и т. п.

Сначала мы вошли в корпус, где находятся «одиночки». Мне отворили свободную камеру, довольно высокую, которая имела шага четыре в длину и шага три в ширину, с одним узким и маленьким окном на верху

стены. Помнится, мебели было только койка да стол. В двери вырезано небольшое отверстие, вроде откидного окошка, через которое подается в камеру пища, так что арестант, кроме четырех стен и клочка неба, не видит ничего и никого. Дверное отверстие открывается только снаружи, из коридора, и запирается тотчас же, как только заключенный принял от солдата пищу.

Таких комнат, не помню на счет, но немало настроено по узкому коридору. Впрочем, в недалеком будущем все эти камеры будут переделаны: окно будет поднято еще выше и сделано еще у́же, так что вряд ли в него будет видно даже и небо; самая камера будет сокращена в длине и ширине, но ради воздуха увеличена в высоту. Получится высокая узкая комната, где едва-едва уставится теперешняя койка, которая на день будет привинчена к стене, и спать или лежать в неуказанное время будет уже немыслимо.

Затем, осмотрев церковь и еще какие-то комнаты, не заинтересовавшие меня, мы перешли двор, чтобы подняться в корпус — в помещение для заключенных.

Это помещение с 1893 г. разделено на два отдела: направо — общее заключение, налево — взвод исправляющихся. Какое благотворное влияние оказало это нововведение, я расскажу ниже, как о наглядном доказательстве того, что «отнять у человека надежду — это испортить самого лучшего человека».

В прежнее время всякому заключенному предстояло пробыть здесь полный срок наказания без отпуска, лишиться погон и, по выходе из службы, считаться штрафованным. И на людей нападало такое отчаяние, что они обращались в злодеев. Так, рассказывают, один заключенный солдат ни за что ни про что избил фельдфебеля, за это его лишили воинского звания, потом судили гражданским судом, который и приговорил его на год в тюрьму. Получилась выгода: не будь этого скандала, солдат просидел бы здесь, в дисциплинарной роте, еще года два. Такая «выгода» соблазнила многих и дорого обошлась фельдфебелям, пока, наконец, один арестант, желая «выгадать», не проломил надзирателю голову, за что и поплатился каторгой.

Теперь благодаря реформе поступают иначе. Первую треть всего срока солдат проводит в общем заключении, т. е. без погон и без отпуска и под страхом телесного наказания до сотни розог. Затем, если он в эту треть ведет себя хорошо, его перечисляют во взвод исправляющихся: дают погоны, отпускают иногда в город, сокращают на одну шестую срок пребывания в роте и выпускают *беспорочно служащим*, зачисляя даже время заключения ему в действительную службу, кроме того, «исправляющийся» свободен от розог.

Это гуманное нововведение не замедлило дать результаты. В какие-нибудь два месяца народ стал неузнаваем: прежние сорванцы и буяны, решившие, что, что бы они ни делали, все равно не будет ни лучше ни хуже,— по крайней мере хоть зло сорвать!.. — перестали ссориться, притихли и начали усердно работать, потому что явилась *надежда* улучшить свою судьбу. Ни бегства, ни буйства теперь уже почти нет; а о прежнем времени рассказывают ужасные вещи, когда человек проводил эти два-три года под страшным гнетом и выходил оттуда чуть не разбойником.

Теперь живут смирно и работают охотно. Занятий здесь не бывает только по субботам. Суббота — день банный. В первую субботу арестованные стирают для себя белье, а в другую — парятся сами в просторных и благоустроенных банях, стоящих тут же на острожном дворе. Хлебопеки и повара (из своих же солдат) освобождены от всяких иных занятий и целые дни работают на кухне. Когда мы проходили мимо нее, мой спутник предложил мне попробовать арестантский обед, так как на пищу, по его словам, обращено большое внимание. Действительно, нам подали из котла очень вкусный картофельный суп, затем принесли на лотке мясо, нарезанное уже по порциям — около $^1/_4$ фунта, без кости, для каждого; затем была «ячная» каша (ячменная); кваса и хлеба дают вволю — досыта.

Дадут капусты мне с водою —
И ем, так за ушми трещит,—

вспомнилась мне арестантская песенка, записанная в свое время Достоевским.

Общее положение дисциплинарной роты, ее реформы, образцовый порядок, во всем безукоризненная чистота и опрятность — невольно сглаживали то тяжелое впечатление, какое она должна производить по своим целям. «Надежда», дарованная арестантам, скрашивала все дело.

Но Достоевский?..

О нем нигде не сохранилось ничего памятного, кроме той проезжей дороги, где раньше стоял острог, да еще бани Коробейникова, будто бы той самой бани, которая описана в его «Мертвом доме». Но и баня с тех пор перестроена, так что опять можно указать лишь *место*, где все это когда-то происходило.

Немногие из стариков здесь помнят Достоевского; но кто помнит, тот с гордостью говорит о знакомстве с этим «каторжным».

XXIV

Самоходы

Было свободное время, и я поехал взглянуть, как строят «великую» железную дорогу. Работы производились в степи, за военными лагерями, и, направляясь туда, я встретил среди поля, поросшего седою полынью, одинокий огороженный двор, с двумя-тремя домиками внутри.

— Что это?— спросил я извозчика.

— Загон. Переселенцы живут.

Оказалось, это был когда-то господский двор, впоследствии покинутый и забытый; во время эпидемии его обратили в холерный барак, а теперь отдали переселенцам и всем бесприютным людям, кто хочет укрыться от непогоды и холода; даже полиция отсылает сюда нуждающихся: ступай, мол, в барак и живи сколько знаешь, никто тебя там не тронет. И барак никогда не пустует: одни уходят, другие приходят, и во всякое

время можно здесь наблюдать одну и ту же картину. Временные жильцы сидят и лежат вразброд по голому полу; кто свернулся на боку, кто распластался во весь рост на спине, загнувши за голову руки; там под одеялом виднеются чьи-то ноги, тут из-под одного армяка выглядывают сразу две головы — седая и детская, и повсюду узлы и котомки, отделяющие семью от семьи...

В то время народу жило во дворе человек 40. Когда я вошел и огляделся, мое внимание привлек к себе старичок, возившийся среди двора с небольшою тележкой; он осматривал ее, вздыхал и качал головою, точно у него что-то не ладилось или что-то его сильно тревожило.

Это был один из числа «самоходов»,— истинный самоход, в полном значении этого слова. Идет он с семьей из Челябинска шестую неделю, пробираясь в Барнаул. Причины, погнавшие его с родины, и надежды его очень характерны. Дома неурожай, последние всходы пожирает «кобылка»[54], доходов нет, а подати, пропитание и старые недоимки требуют денег. Что делать? Как утопающий хватается за соломинку, так и «самоход» доверяется слухам, будто в Сибири хорошо и хлебно; он оставляет свое родное село, оставляет землю и хозяйство — в уплату за недоимки и уходит бездомным и нищим искать новое счастливое место, пробираясь тысячу верст пешком и кормясь исключительно «Христовым именем». Ему все равно: дома он нищий и в пути нищий; утешает и влечет его вперед только надежда; будет на новом месте хорошо и сыто — слава богу, а нет, то хуже не будет. Вот и все его расчеты, которые более прилично назвать отчаянием, чем надеждой.

Мне довелось видеть «отъезд» этого старика, который среди двора осматривал свою тележку. На вид ему было лет 70, а семья состояла из девять человек, с женщинами и детьми. В тележку положили разный скарб и тряпье, посадили маленьких детей и старуху, и повозка, прошедшая уже верст 600—700, была готова к дальнейшему путешествию. Это была двухколесная ребристая таратайка, вроде тех, какие встречаются в больших городах для сбора костей и старого железа. В оглобли, вместо лошади, впрягся мужик, сын этого старика, а на

пристяжке пошел сам старик и с другой стороны 13-летний мальчик, его внук. Каждый из них надел на плечи веревку с широкою петлей, вроде бурлацких помочей, и семейная «тройка» потянула повозку, за которою побрели женщины, нагруженные узлами.

Так переселялась за тысячи верст эта голодная семья, где сын, отец и дед составляли дружную тройку. Не верится и не хочется верить в возможность такой нужды, но факты говорят сами за себя, и очевидцу, несмотря на нежелание, приходится не только верить, но удостовериться и повторить за поэтом: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и забитая, ты и всесильная, матушка-Русь!»

Многие утверждают, что переселенческое движение вообще составляет дело государственной важности, в смысле колонизации края. К сожалению, эти многие относятся к самим переселенцам, так сказать, к героям дела, почти враждебно, называя их попрошайками и пройдохами, предполагая, вероятно, что эти полуголодные, безграмотные, чуть не дикие люди имеют возможность сознавать свое значение и относиться к нему с кабинетным спокойствием. Переселенец, во-первых, простой мужик, который знать не хочет никаких общественных вопросов и никакой важности их и значения. Ему нужно только одно — личное благополучие, которого нет, потому что на родине тесно: семья растет, а в его распоряжении всего-навсего 2—3 десятины земли, тогда как в Сибири дают 15 десятин на каждую душу. Этим расчетом ограничивается все его размышление, по пословице: «рыба ищет где поглубже, человек — где жить получше». Да и странно требовать, чтобы неразвитой человек, задавленный нуждой, мог рассуждать о каких-то важных вопросах! Его гонит нужда, и он продает либо бросает за долги свое хозяйство и едет в Сибирь искать на новом месте личного благополучия. Больше ему ничего не нужно. Он прав уже тем, что *действует* в важном вопросе, предоставляя кабинетным людям рассуждать о себе по географическим картам и браниться по его адресу какими угодно словами.

Этот самый старик, про которого я сейчас говорил, мне жаловался только на одно, что ему «способия» не дают. Значит, и он попрошайка. Но ведь просит он или не просит, дают ему или не дают, а он все-таки прошел уже верст 700 на пристяжке, таща таратайку. Несмотря ни на что, он идет и верит в лучшее будущее; стало быть, не одно попрошайничество подняло и погнало его из родной стороны.

Как бы то ни было, но эта тройка» не выходила у меня из головы все время, пока я осматривал железнодорожные работы и даже когда вернулся в город. Вечер выдался превосходный; солнце только что закатилось, и багрянец неба отражался в Оми, точно в зеркале; по случаю праздника на улицах было много народа, и по речке плавало много лодок, слышался веселый молодой смех и пение. Было еще светло, но луна уже поднялась огромным бледно-розовым шаром, легким и золотистым, почти прозрачным. Бесцельно бродя по городу, я зашел на опустевший базар, откуда открывается прекрасная панорама: в низине зеленеет сквер, а в перспективе возвышается группа лучших зданий города. В сущности этот сквер — запущенный безлюдный садик, с березами по бокам дорожек и кустами акаций с торчащими стручками; хотя у калитки, сделанной в виде вертящегося креста, я и читал надпись о просьбе траву не мять, собак не водить и т. п., но сейчас же, едва вошел, наткнулся на след лошадиной ступни, оттиснувшейся на дорожке. Посредине сада стоит деревянная сквозная беседка, очевидно, музыкальная, с извилистыми тропинками вокруг, протоптанными усердными слушателями; тут же разбиты правильные дорожки с врытыми в землю скамьями, на которых местные остроумцы расписались неприличными словами. Густые кусты акаций сзади каждой скамейки да кое-где молодой серебристый тополь, цветущий шиповник да березы — вот и весь сквер; а украшение его состояло в том, что трава на газонах была скошена и пахло свежим сеном; в растоптанных куртинах, конечно, не розы цвели, а росли врассыпную широкие лопухи да торчал репейник

с щетинистыми цветами на маковке, так называемыми «собаками».

Другие скверы содержались в порядке, а на этот почему-то махнули рукой, и доживает он свой век в запустении, точно ссыльный.

Ночь стояла роскошная. Было ясно, тепло и многим, должно быть, спать еще не хотелось, потому что среди затишья где-то пищала гармоника и чей-то голос тихонько подпевал ей:

Ах, ты во-ля, моя во-ля,
Золота-я ты мо-я!..

Большая площадь перед кадетским корпусом была вся залита лунным сиянием, точно выткана серебром; когда переходил ее человек, то черная тень от него ложилась в длину всей площади... Кое-где вспыхнет огонек папироски, кое-где сверкнет белое платье или проедет верховой киргиз в меховых шароварах, шерстью вверх,— все было уместно и хорошо в эту чудную ночь. «Но как-то бредет теперь по степной дороге переселенческая "тройка"?»— невольно вспоминалось мне, и я мысленно представлял себе эти странные и страшные русские картины...

А гармоника в это время наигрывала уже развеселый мотив, и голос, перестав тосковать о «воле», подпевал в увлечении:

Ах, ты шельма, Катенька!..
— Виновата, папенька!

XXV

Дружки и тарантасы

Путь мой лежал на Тюкалинск или, как здесь говорят, на Тюкалу.

На почте мне лошадей, однако, не дали; пришлось пережидать сутки. На следующий день опять прихожу:

— Лошадей!

Опять нет: где-то что-то случилось или что-то где-то должно было случиться, только лошадей я все-таки не достал.

— На дружках поезжайте,— посоветовали мне.— Это не хуже и даже дешевле немного, потому что на почте с вас и за смазку колес насчитают, и за прогон тарантаса, и казенный сбор возьмут, а на дружках — сел да поехал!

Дружками в Сибири называются вольные ямщики, которые, провезя станцию, или по-здешнему — станок, верст в 20, передают вас другому товарищу, а тот — третьему, третий четвертому, и так вы можете проехать тысячу верст, не торгуясь в цене и не чувствуя никаких неудобств против почты. Такая передача путника из рук в руки у них называется «веревочкой», и всякий дружок держится строго этой веревочки, не задерживая проезжего в лошадях и не набавляя цены: сторговавшись однажды, вы можете ехать куда угодно, точно по таксе. Если вы хотите отдохнуть или переночевать, то в избе у дружка найдется для вас комната; захотите поесть или напиться чаю — вам подадут самовар, яиц, молока... В «веревочке» участвуют люди разных состояний: есть небогатые крестьяне, есть и разжиревшие мужики, богатеи, и если случаются неприятности для путника, так именно у этих воротил, которые так и ждут случая, как бы накинуть копеечку; со средними людьми много проще.

Почему-то здесь принято называть езду на лошадях или, вернее, лошадный путь, *горою*, хотя бы никаких гор не встречалось. Например, про дорогу на Семипалатинск, степную и ровную, говорят так же:

— На Семипалатну ехать горой, будет 700 верст с небольшим, а ежели водой, то более тысячи.

На моем пути гор тоже не лежало, но ехать приходилось «горой». К вечерку, часа в 4, дружок подал мне тарантас, запряженный парой лошадок. Ямщик уложил мой багаж, вспушил сено, которое после накрыл циновкой, и предложил мне садиться.

Я сел. Лошади потихоньку тронулись.

Тарантас представляет собою плетеный кузов, поставленный на дроги, довольно просторный, так что сидеть вдвоем было бы как раз, но в соседи мне положили мой чемодан и подушку. В буквальном смысле слова, *сидеть* в тарантасе нельзя, или нужна уж какая-нибудь особенная сноровка, потому что от тряски сено под вами расползается, спина устает, протянутые ноги утомляются от одного положения и седок начинает принимать самые разнообразные позы: то посидит, поджавши ноги, то вытянется и ляжет, то повернется на бок и вообще благодушествует, благо место просторное; а тарантас все несется вперед.

Передняя часть этого плетеного кузова (где находятся ноги пассажира) загорожена сверху местом для ямщика, откуда, в случае ненастья, выкатывается кожаный фартук. Тарантасы всегда делаются крытые, с огромными кожаными верхами, вроде городских пролеток; к этим чепчикам и прицепляют во время дождя фартук, да, кроме того, сверху опускается у чепчика кожаный зонтик, так что в новом и хорошем тарантасе вы обеспечены от ненастья и едете, как в карете.

Последним городским зданием был острог. В высокие решетчатые окошки глядели на меня арестанты, и это было последнее впечатление неволи. Едва выехали мы за город, как ямщик загикал на лошадей, да и сами лошади точно обрадовались простору и весело побежали по гладкой дороге. Промелькнула в стороне толпа ветряных мельниц, а потом на целый час езды все тянулось поле, пестревшее цветами. Кое-где встречался сенокос, кое-где желтели нивы, бродили разнузданные кони возле телег с опущенными оглоблями; было свободно везде и привольно.

Здешние лошади, хотя и неказисты, но бегут превосходно. Обычная скорость по летнему пути 12 верст в час.

— Что это за крест?— спросил я, увидав впереди небольшую рощу и на углу, у края дороги, деревянный крест.

— Нынешним годом троих тут подняли,— ответил ямщик.

— Ограблены?

— Нет. Должно быть, промеж себя что-нибудь не поладили. А может — так кто, со зла...

Он поднял руку, гикнул — и лошади, шедшие минуты две шагом, опять помчались во всю прыть, а вскоре перед нами открылось и село — первая «дружковая» станция.

— А что, барин, если плетеночку дать вместо тарантаса?— спросил меня новый ямщик.— Погода хорошая, станок небольшой,— скорее бы доехали!

Я согласился. Это был такой же экипаж, только покороче, полегче и без чепчика. Вещи мои переложили, чемодан прикрутили сзади, и новые лошади понесли меня дальше по мягкой проселочной дороге. Начинало вечереть. Под дугой дрожали и звонили два колокольчика. У нас в России принято подвязывать под дугой один большой колокольчик, а в Сибири подвязывают всегда два маленьких.

Скучно сидеть и молчать несколько часов сряду.

— Подумаешь, покуришь и нет-нет перекинешься с ямщиком словечком. Иногда эти разговоры кончаются кратким ответом, а иногда растолкуешься, и если попадется ямщик словоохотливый, особенно старик, то и не рад будешь, что начал: всю дорогу он будет говорить и спрашивать, пока не доедет до станции. Один из таких говорунов и попался мне на этот раз. О чем он только ни рассказывал — о хлебе, о лошадях, даже жаловался на теперешних «людишек», которым, по его мнению, всем вместе грош цена.

— Народ ныне плохой пошел,— говорил он.— Все норовит утянуть да вытянуть. Да вот как!— воскликнул он, очевидно придя в азарт. — Вот я кафтан под себя подложу,— уж, кажись, место надежное, потянешь, так почувствую... Нет же! И здесь, мошенники, тащат. Из-под тебя самого вытащат, а ты и не чувствуешь!

Я спросил о бродягах.

— Проезжих не обижают,— ответил ямщик,— а вот коней поворовывают... Тут у нас старичок живет, Никитой Назарычем звать, так вот он рассказывает, как у него лошадь увели. Ехал он также вот, порожнем

только, вожжи бросил, а сам задремал. Ехал, ехал — очнулся. Глядь — лошадь-то одна! А другая?.. Туда, сюда, глядеть, ходить — точно сквозь землю провалилась. Что ж делать? Поискал, поплакал да поворотил назад. Едет назад-то, все думает, а тут место есть такое глухое, Поганые Тычки; лошадь-то вдруг как заржет, а Никита Назарыч ее хлоп кнутом: молчи, мол, покуда сама цела. А из рощи слышит тоже лошадь заржала. Батюшки, да ведь это мой конек-то ржет! И стали две лошади перекликаться: почуяли друг дружку. Вот Никита Назарыч и думает: наверно, привязал разбойник в роще, а сам ушел, пойду да возьму. Пошел старик... Видит, спит в траве человек, в тулупе одет, а к поясу-то лошадь привязана. Снять бы узду с коня, да сесть бы верхом, ан Никита Назарыч не догадался, а просто дернул,— ну, вор и проснулся. «Мой конь!»— закричал старик, а тот как вскочит, выхватил откуда-то топор и чуть не убил его, да Никита Назарыч поспел его за руку подхватить. Ухватились оба за топор и держат,— никому отступиться нельзя. Уж они с этим топором ходили-ходили, и вырывали-то его друг у дружки, и ногами-то дрались — ничего не берет: оба точно прилипли к топорищу. Устали, запыхались. Старик уж стал уговаривать: «Бросим,— говорит,— топор, разойдемся живыми». А разбойник говорит: «Не могу бросить, потому ты меня убьешь». Ломались они, ломались — рты поразинули. Особенно вору трудно в тулупе: жарко, весь пóтом исходит, а топор не выпускает, и старик крепко держится, отхватиться робеет. Мучились-мучились,— вор и взопрел в тулупе, ослаб. Никита Назарыч повалил его оземь и топор вырвал да как тяп его по башке!— и пришиб. Ну, известно, сел на лошадь и уехал. Сам рассказывает; говорит: больно страшно было, когда они с топором-то оба ходили: ни взять его нельзя, ни отдать нельзя... Вот тут и подумаешь! Уж я, говорит, и лошади не рад, только бы живому остаться. А тот разве живым отпустит? Только оторви руку от топора — тут тебе и крышка.

При новой пересадке дали опять большой тарантас, и хозяин за ту же цену велел запрячь вместо пары

тройку, чтобы лошадям было легче. Работник попался молодой парень, и мы помчались, как стрела, даже дух захватывало и ломило бока.

Было уже поздно. Здесь пришлось переплывать Иртыш на пароме; это была огромная барка с двумя пароходными колесами, которые приводились в движение конною силой: вокруг столба бегали три лошади с завязанными глазами, и два мужика подхлестывали их с криком, лаской и бранью. Особенно запомнился мне один из них — старик, одетый в рубаху и шляпу, который бегал за лошадьми с кнутом и кричал охрипшим голосом: «Н-но! проклятые! Н-но, но, родные!» И лошади бежали быстрее вокруг столба, быстрее крутились канаты, а барка подвигалась к другому берегу все ближе и ближе...

Выехав на берег, ямщик снова пустил тройку, и весело было ехать среди ночи по этому сибирскому простору. В стороне, в поле, встречались иногда костры, иногда перелетала дорогу серая большая птица, называемая здесь «ночная»; она летела медленно, плавно, почти касаясь земли своими крупными крыльями. Наконец, около полуночи, мы въехали в село, где я предполагал ночевать.

Меня ввели в просторную комнату с беленою печкой в углу, с сундуком и буфетом; тут же находилась кровать, скамейки и серая пушистая кошка. Мне поставили молока и стакан, весь изукрашенный яркими цветами и даже с надписью: «дарю вас любя».

Я остался один.

Прежде всего я утолил жажду, потом оглядел свое помещение. Было все очень опрятно. В переднем углу много икон, писаных и печатных, с приткнутыми восковыми огарками. На стене висит кривящее зеркальце, кругом облепленное картинками с дешевой карамели; на окнах горшки с растениями; в «буфете» за стеклом целая коллекция чашек, стаканов и две парные, очевидно заповедные, рюмки.

Бока мои, однако, чувствовали боль, и сам я был утомлен настолько, что предпочел лечь, и вскоре заснул

на короткой и рыхлой, должно быть, бабьей постели под пологом.

В пятом часу утра меня уже разбудили, и я опять, наскоро выпив чаю, тронулся в путь.

XXVI

Город Тюкалинск. — Неизвестные люди. — Деревни

Встречный ветер с проливным дождем хозяйничали в моей повозке, как хотели, хотя она была крытая и имела при себе, как полагается, фартук и «зонт». Только зонт не спускался от старости, а фартук оказался в дырах и, кроме того, разорван был по швам, так что прикрываться приходилось кожаными лохмотьями, которые иногда распахивал ветер. Но спасибо и за лохмотья, без них было бы много хуже. Из-под своего «чепчика» я раскрыл зонтик, который вырывало у меня из рук; но несмотря ни на какую защиту, за два часа езды я был буквально весь вымочен и весь залеплен черною грязью, которая комками летела в меня из-под колес и копыт. В самом невзрачном, в самом жалком виде добрался я, наконец, до города Тюкалинска.

Это один из самых печальных захолустных городов, какие только мне приходилось видеть. Даже не за что его назвать городом,— до такой степени все в нем неказисто; впрочем, он возведен в степень уездного города лишь с 1878 г. и в общежитии до сих пор именуется Тюкалой. От крупных пунктов он отделен значительным расстоянием: от Тобольска 463 версты, от Кургана 608 верст, от Омска 140 верст. Хотя в Сибири и говорят, что 300 верст не крюк и что за 300 верст можно на именины съездить, однако все эти сообщения стоят недешево в смысле денег и времени. По официальной ведомости за 1892 г. жителей в городе значится 4725 человек, причем женщин только одна треть. Как велико городское хозяйство — можно составить понятие по доходам (15511 руб.) и расходам (16105 руб.). Если б не «стороннее позаимствование» в 1000 рублей, обо-

значенное в ведомости, то получился бы дефицит; из этого ясно, что это за город, который прибегает к займу в тысячу рублей и этой тысячей прикрывается как броней. В Тюкалинске существует приемный городской покой, тюремная больница и военный лазарет; открыт городской общественный банк и клуб — общественное собрание, которое помещается в наемном доме и имеет 20 членов, при годовом взносе по 10 рублей.

Видом своим Тюкалинск походит на деревню: дома бревенчатые, с тесовыми крышами, нередко даже с земляными; на улицах невылазная грязь; народ преимущественно из ссыльных. Дружок, у которого я остановился отдохнуть и пообедать, рассказывал мне, что у них идет страшное воровство, особенно коней.

— Украдут целую тройку, а потом и зашлют когонибудь: давай 70 рублей — отдадим коней. Известно, лучше отдать. И отдаешь, благо недорого просят.

— А если этого посланника арестовать? — спросил я.

— А что с него взять: гол, как сокол, а где лошади — не выдаст. Только уж после ты своих коней не увидишь. Пробовали по-всякому делать — хуже выходит. И начальству жаловались,— воровство, мол, одолело. А начальство говорит: что ж теперь делать? На то и Сибирь! Надо же ворам-то где-нибудь жить.

Так ли это или не так, но только сибирские бродяги имеют за собой другие традиции, вековые, сводящиеся, так сказать, к «каторжной чести».

Вероятно, всякий, кто хоть сколько-нибудь интересовался Сибирью, слыхал о старинном обычае тамошнего населения — жить с бродягой в ладу, т. е. кормить его и не трогать. Для этого в деревнях кладут на полочку за окошко хлеб, яйца, творог, чтобы бродяга, пробираясь ночью, мог найти себе пропитание. С одной стороны здесь играет роль человеколюбие, а с другой стороны — расчет, потому что бродяга в свою очередь отплачивает услугой за услугу. Там, где их не теснят, где их кормят и поят, они ведут себя «джентльменами»: не грабят, не воруют, не портят, не приносят зла. Но там, где голодно и опасно, где население согласно ловить их и мешать их путешествию, бродяги распоряжаются грубо, нагло;

бывали случаи, что они выжигали селение, убивали и грабили, не стесняясь. Какой союз и какой самосуд существует между ними, неизвестно, но только в местах, где хорошо прошел один, не будет зла и от сотни других; там же, где обидели одного, будет плохо не от пятого, так от десятого или от сотого, но даром обида никогда не пройдет. Кто он, этот бродяга?.. По его собственному признанию (когда он пойман), он не помнит ни рода ни племени,— словом, он «неизвестный».

Достаточно побывать на Урале летом, говорит г-н Мамин-Сибиряк, чтобы своими глазами видеть, как этот «неизвестный человек» бредет из Сибири тысячами. Да, это не преувеличение: через Урал ежегодно переваливает в Россию до трех тысяч не помнящих родства. Ни в одном государстве ничего подобного нет и не может быть, и страшно подумать о тех условиях, которые создают такую жизнь. «Неизвестный человек» бьет направо и налево, пока его самого не убьют в свою очередь. Жизнь — копейка!.. Один знакомый судебный следователь рассказывал мне такой эпизод из своей судебной практики в Шадринске. Шадринский острог является для бродяг своего рода спасательною станцией. Дело в том, что если такого бродягу поймают в Восточной Сибири, то ему полагается, кажется, пять лет каторги и столько-то плетей; если в Западной, то просто три года каторги, без плетей, а если в пределах Пермской губернии, то только простая ссылка на поселение в места не столь отдаленные[55]. Понятно, что заветная мечта каждого бродяги добраться до обетованной земли, причем на проторенном бродяжническом тракте Шадринский уезд является заветною границей. Некоторые бродяжки «из-за моря», т. е. из-за Байкала, идут лет пять, пока достигнут этого порога в «Расею». Счастливцы успевают летом перевалить через Урал на «расейскую» сторону, а многие окончательно выбиваются из сил, особенно если в пути застигает ранняя осень. Тогда они прямо идут в Шадринский острог на зимовку, судятся за бродяжничество и ссылаются в не столь отдаленные места, чтобы следующею весной снова предпринять многотрудный путь в «Расею»... «Неиз-

вестный человек» бредет из Сибири в родную «Расею» неустанно, приходит ни к чему, высылается обратно в Сибирь и опять бредет... Это какая-то мертвая тяга к родному пепелищу...

Отдохнув, пообедав и объехавши город, я снова тронулся в путь. Извозчик, возивший меня по городу и объяснявший «достопримечательности», за всю работу взял с меня, кажется, двугривенный,— до такой степени обширен Тюкалинск!

Начались опять мелкие станции, попутные села и деревни, где за тарантасом гонится обыкновенно стая собак и разбегаются врозь компании свиней, кур, телят. На станциях дружки не задерживают. У иных не приходится даже заходить в дом. Только въедешь во двор, сейчас же хозяин выкатывает из-под навеса сменный тарантас и начинает смазывать колеса, а работник убегает куда-то на улицу за лошадьми, и через четверть часа все готово,— садись и поезжай.

Едешь, едешь, проходит часа два; переменишь лошадей и тарантас, и опять едешь два часа,— и так с утра до вечера, пока не заломит бока. Надоело ехать — значит, ночевка. До сих пор с меня брали за версту с каждой лошади 2 коп., так что станцию в 20 верст промчаться на паре стоит всего только 80 коп., да неизбежное «на чай» ямщику, глядя по успехам и расстоянию, от 10 до 20 коп.

Все села и деревни, которые пришлось проезжать мимо и в которых пришлось останавливаться, имели хороший, опрятный вид, свидетельствующий о достатках. Нигде я не видел избы без крыши, что у нас не диво в подстоличных деревнях, нигде не видел перекосившихся, чуть не падающих стен; все прочно, свежо; даже мужика в лаптях я не видел ни одного; может быть, это случайность, может быть, там и не носят лаптей, но кожаные сапоги как-никак, а свидетельствуют опять-таки о зажиточности и достатке. Народ везде радушный, толковый, ни в ком незаметно холопского унижения и холопского же высокомерия; вероятно, это находится в связи и в зависимости от того, что в Сибири не было крепостных. Разумеется, я говорю не о всех: есть и там

люди, что называется со всячинкой. Но досадно то, что когда налетишь на какую-нибудь мелкую неприятность или на мужика-самодура и спросишь его после, настоящий ли он сибиряк, то почти всегда ответ одинаков:

— Нет, мы расейские.

Именно этот «расейский» человек пресмыкается и раболепствует, когда беден, а чуть заведутся деньжонки — к нему же и не подступишься. Много еще времени и стараний нужно, чтоб он как-нибудь «уравнялся»...

Пока по пути мелькают пестрые верстовые столбы, пока летишь в тарантасе верст по сто с лишком в день, сколько перевидаешь разных сцен и лиц, сколько переслушаешь разных историй и передумаешь разных дум!

Навстречу то и дело тянутся вереницы подвод, штук по полсотни зараз и более; эти телеги с навесами, вроде «чепчика» тарантаса, только навесы сделаны из лубка, рогож и тряпок; оттуда выглядывают лица старух, стариков, детей, молодых баб с грудными ребятами, иногда на возу сидит мужик и правит вожжами, иногда встретишь усатого малоросса, который, точно убитый, валяется поперек телеги и спит. По бокам такого обоза идут пешие подростки, молодые парни, девушки, мужчины; некоторые несут на плечах ружья, иные — котомки и узлы. Все это те же переселенцы, которые, потеряв терпение ждать баржу, купили лошадей и отправились «сами».

Это — встречные.

Попутчики же мои были в другом вкусе. Нередко я обгонял человека, идущего налегке по тропинке или по дороге. Кто он? Куда идет и откуда? По его загорелому, обветренному лицу заметно, что не один день и не одну ночь провел он под открытым небом. Одежда его изношена, на голове плохенький картузик, шея обмотана грязным платком, ноги нередко босы, а за плечами на палочке висят сапоги либо шерстяные пимы[56]. Заслышав колокольчики, такой пешеход еще издали начинает обертываться и смотреть, как бы желая угадать, кто его обгоняет. По его взгляду, однако, заметно, что желание это не простое любопытство, а как будто тут есть и некоторая тревога. Иногда таких людей идет двое вме-

сте, редко трое, и никогда не встретится компания. По сибирскому обычаю, проезжий бросает им при встрече медные деньги, пятачок или гривенник, и «попутчик» благодарит либо жестом, либо снимает картуз. За день таких людей обгонишь немало, и все они идут по одному направлению, все встречаются только по пути, идут только «оттуда», все равно как переселенческие обозы ползут только «туда». Ни в деревнях, ни в селах не попадется ни один из таких прохожих, хотя путь их лежит через деревни и села. Это и есть те самые бродяги, те «неизвестные»; не помнящие ни рода, ни племени, которых, как магнит, притягивает к себе Урал...

Бог знает,— может быть, на душе у этого человека лежит тяжкое преступление, может быть, он громила, разбойник и «душегуб», но при встрече с ним не чувствуешь за собою никакого права считать его тем или другим, кроме несчастного и голодного человека... Лошади мчатся; мелькнет сбоку, с края дороги, пешеход, и не поспеешь еще заметить его лица, как он остался уже далеко позади в облаке пыли.

Из Тюкалинска я ехал на Ишим, ни разу не переторговываясь с дружками; как подрядились в Омске, так и везли меня около 270 верст до станции Абатской без всяких недоразумений. Наконец, в Абатской привезли к богатому дружку, который сейчас же заявил, что даст лошадей только тогда, если я заплачу ему в полтора раза дороже.

— За что ж я тебе дам дороже?

— А за то, что у меня обыкновение такое.

По пословице: с чужого коня среди грязи долой — приходилось либо подчиняться «обыкновению», либо ехать на почту. На прибавку я не согласился.

— Все равно помимо меня не уехать!— важно заявил хозяин.

Я приказал ехать на почту.

— И вольные кони мои, и почта моя!— торжествовал неуязвимый Крез.

Он был прав: почта была у него на откупе. Я сидел в комнате для приезжающих, в ожидании обеда, и глядел на стену, где висела казенная таблица с примечанием,

что по почтовым трактам брать частных лошадей воспрещается. Не то здесь было какое-то недоразумение, не то откупщик, как частное лицо, настолько слился в интересах с казной, что не поймешь, где начинался свой карман и где кончался казенный.

В общем пришлось переплатить. Мне выдали квитанцию с орлом, взыскали, кроме провозной платы, 30 коп. государственного сбора, по гривеннику с лошади, и отпустили с миром. Разница против дружков была только та, что ямщик привязал себе на картуз жестяную бляху.

Абатская — огромная и богатая слобода, лежащая на большом Сибирском тракте; она славится своими ярмарками, а внешностью значительно превосходит город Тюкалинск.

На каждой почтовой станции вывешен табель, где описана дорога. Для примера приведу Абатский табель: «От Абата до Камышенки до 7-й версты местность топкая, на первой версте мост через р. Ишим, в половодье на пароме, в конце первой версты мост через р. Абань, с седьмой версты подъем на крутую гору, дальше ровная дорога».

XXVII

Город Ишим

— Помилуйте... благородный человек, семейный, ничего такого не сделавший вроде преступления или там подлости, и вдруг извольте пожаловать в Сибирь. Даже обидно-с!

Так говорил мне мужчина лет 45-ти, которого я встретил на станции и пригласил выпить со мной чаю. Закуривая трясущимися руками папиросу, он помычал и, когда закурил, продолжил:

— Прямо, можно сказать, ни за что попал в здешние Палестины. Пострадал. За рубль, за единый рубль променял среднюю Россию на этот Богом обиженный

закоулок. Семейный человек,— и такое несчастье. Верите ли, за единый рубль!

Одет он был сравнительно прилично, в пиджаке неопределенного цвета с узкими и короткими рукавами, в крахмальной сорочке с черной ленточкой, и внешность у него была тоже сравнительно приличная: приглаженные усы, бритый подбородок и гладко остриженные волосы такого же неопределенного цвета, как и его пиджак, т. е. смесь седины с коричневым оттенком и еще с каким-то колером. Голос его был мягок, но немного дрожал, глаза были светлые и ласковые, и весь он производил неопределенное впечатление не то несчастного хорошего человека, не то задавленного и обезвреженного плута.

Он дожидался здесь какого-то важного проезжего, который может дать ему место. Со смотрителем он был, очевидно, близок, и тот разговаривал с ним как хороший знакомый. Пока готовили лошадей, мне подали самовар, а этот господин хлопотал с посудой; таким образом, произошло наше кратковременное знакомство.

— Не дружили мы со старостой,— рассказывал он мне свое горе,— а я был волостным писарем N-ской губернии... Дворянин, знаете.. Нужда, служба, семейный человек... Сочинили историю, будто я там «взял» 18 пудов муки и пять рублей денег. Загремело дело, и вот — пожалуйте-с! В Сибирь угодил. А и всего-то, если признаться, один рубль по глупости взял на табак. Единый рубль!.. Честное слово!

Далее опять началась та же тряска по тракту, те же гиканья и уханья ямщика и тот же докучливый однотонный говор колокольчиков. При въезде в огромное село Боровское стоит одиноко, раньше других построек, этап — домик, крытый тесом, окон в 10 по фасаду, на которых сквозь стекла видны внутри железные прутья; по сторонам две полосатые будки и часовой с ружьем. Проезжая далее, встречается домик с вывеской боровского правления, но начальная буква исполнена несколько виртуозно, так что кажется издали похожею на *в*, отчего и читаешь *воровское правление* и, только

подъезжая ближе, видишь, что впал в непростительную ошибку.

Уже поздно вечером, почти в полночь, моя тройка въехала в город Ишим и остановилась у крыльца почтовой станции. Вдоволь помятые бока просили отдыха; перспектива сна и покоя делала меня чуть не счастливым. По скрипучей деревянной лестнице поднялся я наверх и заглянул, сперва, налево в комнату, где было пусто, потом направо, где тоже не было никого. К моему удивлению, в полу внезапно образовалась дыра, и, точно в театре, появилось женское туловище.

— Ночевать будете?— спросило меня это «явление».

— Буду.

— Сейчас-с!

Туловище скрылось, и в комнате стало опять пусто. Через минуту из того же люка появилась сначала свечка, а потом голова, туловище, и, наконец, женщина. Если б она была молода, красива и закутана в тунику, можно было бы считать ее волшебством или грезой, но «явление» было слишком реально и довольно грузно, чтобы ввести в прекрасное заблуждение.

— Пожалуйте в ту комнату!

Я не прекословил. Сюда внесли уже мой багаж, и «явление», пожелав мне спокойной ночи, удалилось, а я затворил за ним двери и начал устраивать на мягком просторном диване свои подушки и плед, чтобы переночевать с возможным комфортом. Ложась спать, я невольно огляделся, не поднимается ли где-нибудь половица и не наблюдает ли за мной еще какое-нибудь явление.

В 1631 г., когда калмыки начали близко подходить к здешним местам, построен был, из предосторожности, Ишимский острог, а в 1782 г. Коркинская слобода обратилась в город. Вот и вся история Ишима, главным производством которого считается в настоящее время сало. Неурожаев здесь почти не бывает, но хлеба сильно страдают от травяной «кобылки» (род саранчи). Теперь это город с восьмитысячным населением, с училищами, типографией, книжною лавкой и тремя больницами. Я упомянул здесь потому о книжной лавке, что эта рос-

кошь свойственна далеко не всем городам. К числу общественных учреждений относится попечительство о начальном образовании, попечительство о бедных, ночлежный дом, где ежедневно ночует человек 80, и общественная бесплатная библиотека при городской управе в 4 тыс. томов, на которую город отпускает 300 руб. в год.

Город вообще невелик, но чист и порядочен. На главной площади стоит хорошее двухэтажное здание, где помещается банк и городская управа, а над ними возвышается серая деревянная каланча; на противоположной стороне площади — церковь и кладбище. Хорошо также здание духовного училища, и недурен по внешности собор, построенный более ста лет назад; внутри он выбелен, пол посыпан свежею травой, по углам расставлены елки; амвона нет, а вместо него лежит на полу подобие звезды в аршин шириною, обтянутой красным сукном.

— Скоро и мы будем жить, как в России,— сказал между прочим священник.— Скоро железная дорога у нас пройдет.

— Разве она пройдет через город?— удивился я.

— Нет, зачем через город! Верст за сто ее проведут,— и то благодать.

Действительно, куда ни повернись, отовсюду Ишим стоит на 300 да на 400 верст лошадного пути; недалеки от него только маленькие городишки, хуже него самого. Меня начинала уже утомлять эта кочевая жизнь, и я с грустью глядел на полосатый столб, поставленный у наших ворот, точно с намерением вконец озадачить заехавшего путника. На вывеске его значились такие неутешительные сведения, что становилось горько читать: до Петербурга 2849 верст, до Москвы 2382.

Глядя на эти цифры, невольно хотелось поскорее домой.

Не знаю, случайность это или нет, но после Омска мне нигде не подавали к обеду салфеток. Не подали и здесь.

Обед мой состоял из двух блюд: на первое подали говядину с вареным картофелем в миске, а на второе —

говядину с вареным картофелем на тарелке. Это напомнило мне известный анекдот про меню *из трех блюд*: «курица плашмя, курица ребром и курица боком».

Привыкнув к сибирской дешевке, я удивился, когда «явление» за такой обед и за самовар предложило мне заплатить «рублик». Впрочем, оно добавило, улыбаясь: «коль не обидно».

Обидно или не обидно, но коли съел, так расплачивайся. Порциями здесь зато не стесняются, и, несмотря на голод, я съел лишь незначительную часть поданного и даже накормил досыта серую кошку, сидевшую рядом со мною. Кстати сказать, во всех деревнях и на всех станциях здесь водятся кошки, и всех их зовут Машками, как это ни странно.

Медные деньги — тоже явление странное: всюду сдают сдачи медной мелочью, и даже на телеграфе мне навязали на полтора рубля пятачков,— другой монеты не было. За всю дорогу, как ни старался я сбывать их, у меня накопилась меди целая кошелка.

XXVIII

Почтовые станции и ямщики

Уже пятые сутки я еду на лошадях, почти без отдыха, пересаживаясь через каждые 20—25 верст в другой тарантас, то громоздкий и просторный, то узкий и короткий до такой степени, что некуда протянуть ноги, то пересаживаюсь в простую плетеную корзинку на дрогах, или, по-тамошнему, пестерёк. Всякий раз новый ямщик заботливо наваливает мне сена, подбивает его, перестилая циновкой, но через полчаса это благоустроенное сиденье уже смято, сено расползлось, получились ямы, и сидеть становится неудобно. Подушка, которую я кладу за спину, вся свалялась, вся выпачкана в дегте и забрызгана грязью. Почтовые станции, как две капли воды, похожи одна на другую. Дорога после долгих дождей всюду размыта и тяжела; жалея коней, старосты предлагают взять вместо пары тройку, и я беру тройку,

хотя это обходится дорого, особенно тяготит налог по гривеннику с лошади. За день этих гривенников набирается более двух рублей, не считая платы за третью лошадь.

— Да чего вы нас балуете?— заметил мне, наконец, один смотритель. — Лошадей жалко? Оно, конечно, парой тяжело, да вам-то какое дело? Пускай содержатель почты жалеет: его лошади, он пускай и жалеет. Я вас сейчас научу, как делать.

И он предложил мне резонное дело: прогоны платить за пару, а казенный налог за три лошади.

— Гривенник за станцию не обидно,— сказал он,— а третья лошадь пускай даром бежит.

Так и на квитанции написал, что взыскано государственного сбора 30 коп., а в пользу почтосодержателя за две лошади, и дал тройку.

— Ихние лошади,— добавил он,— так пускай они и жалеют, а вы, как одинокий, имеете право ехать на паре. Нечего нас баловать, а то, неровен час, больно богаты станем!

Действительно, жалея лошадей, я увеличивал только доходы почтосодержателей. После этой станции мне везде давали уже тройку, благодаря трудной дороге, но брали только за пару, исключая казенного сбора.

На станциях давали лошадей без задержки: четверть часа — и новая тройка готова; не успеешь разглядеть картины на стенах, как староста или писарь идет с квитанцией и желает счастливого пути. Садишься в тарантас — и поминай как звали! На некоторых станциях я видал очень интересные и даже редкие лубочные картины. У одного дружка даже видел знаменитую картину: «*Как мыши кота хоронили*»[57], но он не продал ее мне потому только, что ее «дедушка еще сюда повесил». Обыкновенно все станционные комнаты увешены дешевыми изданиями: тут найдешь и пожар московского театра, и огненную геенну, пожирающую раскольников, или «Утро красавицы», где изображается полунагая, безобразно полногрудая женщина, с возмутительно глупою улыбкой, встающая с постели; есть и курьезные тенденциозные картинки, как, например, «Семейное

счастье»: мать с детьми, курица с цыплятами, две сосны, две девушки и один мужчина, целующий ребенка; под всем этим подписаны нравоучительные стихи: «При любви и при согласьи много радости и счастья; если хочете так жить, надо замуж выходить».

В дороге время летит незаметно. Утро, полдень и вечер сменяются так быстро, что кажется, будто только что выехал после ночлега, а посчитаешь,— ста верст уже нет.

— Но! Но! Но, родные!— покрикивает ямщик, взмахивая кнутом —-Знаешь, кто едет?— спрашивает он тройку, имея в виду самого себя, и с удовольствием сам за них отвечает: — Трофим Петрович едет!— и, гикнув, добавляет весело, уже с полным восхищением: — Замочкин!..

И лошади, точно тоже обрадовавшись, что ими правит Трофим Замочкин, несутся вскачь, а ямщик, не трогая их кнутом, ликует да покрикивает:

— Эх-ма! Милые!..

Вообще прибаутки и междометия составляют особенность ямщиков. Ни один из них не может ехать молча, а непременно кричит, говорит, ухает и посвистывает. Вместе с быстротою несущейся тройки получается нечто оригинальное, самобытное, хотя, правду сказать, дикое, но молодецкое.

Каких только людей не перевидаешь за день! Иной раз встретишь человека и задумаешься над ним: кто он, чем зарабатывает он себе хлеб насущный, или как и на что ухитряется существовать и чем представляется ему мир Божий? Например, на одной станции я встретил человека, который, прислонясь к холодной печке, стоя, спал; одет он был в старое драповое пальто с поднятым воротником и в фуражку с каким-то кантом; он крепко дремал и раскачивался возле печки,— что называется «тыкался», а в пальцах держал наготове понюшку табаку. Кто он? Что за человек? Зачем он здесь? Пальто его было мокро от дождя, сапоги худы и запачканы грязью, но лицо выражало блаженное настроение.

— Кто это?— спросил я.

— Так... — ответили мне.

Сколько на Руси живет и бродит людей неопределенных и загадочных, кочующих по разным углам, самых бесхитростных и простодушных, способных, как этот, блаженно заснуть, не успевши понюхать табаку, прислонясь к стене и видя, быть может, интересные сны. И про многих из них нечего больше сказать, как это неясное, но полное определение: «так»... Этот разновидный бродячий человек проходит через всю русскую историю, то в виде бездельника-скомороха, пресмыкающегося по боярским дворам, то смиренного странника-богомольца, то смелого головореза, примкнувшего к вольной разбойничьей шайке. Кто они были, все эти плясуны, душегубы, юродивые? Те же «неизвестные» люди, что и сейчас, бродящие по трактам, по закоулкам, кабакам и ночлежным домам...

Встретились по пути и «самоходы», вроде омской «тройки»; так же везли они на себе тележку с ребятами, так же брели сотни верст, убегая от нужды и бедности; только я застал их среди дороги, когда сломалось у них колесо, и все они стояли, понурив головы, озадаченные, растерявшиеся и беспомощные... А время уже близилось к ночи.

Ни железная дорога, ни пароходы не могут так близко и подробно познакомить с народною жизнью, как езда на лошадях. Тут всего навидаешься вдоволь.

Уже стало совсем темно. Бойкие кони по ночному холодку бежали еще бойчее, и колокольчики заливались как будто громче и веселее. На просторе кому бы, кажется, встретиться среди ночи, но и ночью не прекращается народное движение. Караван переселенцев, распрягши коней, спит под телегами, и только костры освещают красным заревом их группы на траве, в стороне от дороги.

Наутро, когда пришлось ехать между станциями Вагайской и Новозаимской, я чуть не кричал от боли. За шесть суток бока мои без того уже ныли, а тут еще какой-то догадливый человек выложил дорогу мелкими бревнами, верст на двадцать. От времени эти бревна подгнили, от езды стесались и местами выбились; получилось нечто ужасное: тарантас прыгает по ним

все время, то проваливаясь одним колесом в ямку, то взбираясь другим на ребро; беспрерывные толчки швыряют меня по тарантасу, бьют то мною по чемодану, то чемоданом по мне; только сядешь удобно, как вдруг яма и толчок — и невольно потеряешь позицию, а пока хочешь вновь устроиться, толкнет с другой стороны, и опять нигде не найдешь места. Можно еще перенести спокойно такой путь на полчаса, но ехать два часа — это свыше всякого терпения. При этом все время видишь, как ямщик балансирует на козлах: то поднимет руку, то оттопырит локти и ухватится за край тарантаса или перегнется назад и только крякнет от неожиданного толчка, да иногда скажет: «Ну, дорожка!»— не забывая скрепить свое восклицание увесистым словом.

Утешала меня только надежда быть назавтра в Кургане. Когда мне сказали, что можно «выгадать» верст около 40, если пересесть с почтовых лошадей на крестьянских и ехать с дружками не по тракту, а стороной, то я согласился сейчас же. Впрочем, это возможно было сделать только к вечеру, и я с нетерпением дожидался той станции, откуда начиналась «выгода».

С дружком мы подрядились в два слова. Мне дали пару лошадок и легкий плетеный коробок, весь устеленный свежескошенною травой.

— Велика ли станция?— спросил я.

— Считаем 35 верст.

— Часа в три доедем?

— Приедем и скорей, Бог здоровья бы дал.

Это обычный ответ дружков. Они никогда не скажут, во сколько времени рассчитывают доехать, а говорят вообще: «Скоро, скоро будем, Бог здоровья бы дал».

Действительно, эти 35 верст мы пролетели в два с половиною часа. Вечер был тихий, дорога лежала полями и перелесками, повозка попалась, «как перышко», и весело было ехать среди аромата скошенных лугов; заходящее солнце окрашивало в нежно-багряный цвет широкое лоно полей, макушки сложенных стогов и даже клубы дорожной пыли, поднимаемой лошадьми и колесами; в воздухе чувствовалась приятная прохлада.

По пути не встречалось ни верстовых, ни телеграфных столбов, через реку не было моста, а пришлось зазывать с того берега паром,— словом, мы ехали по такой глуши, что случись с нами какое-нибудь несчастье, никто не узнал бы о нем и до сих пор. Наконец, меня привезли в какую-то деревню.

Здесь за чашкой чая я разговорился со стариком, который переселился сюда «по царскому вызову», как он сам выражался.

— В пятидесятом году было дело,— рассказывал старик.— По царскому вызову из нашей волости двинулось 660 душ... Мы, значит, калужские... Царь нам по 12 коп. в сутки клал, покуда не устроились. Живем хорошо, слава богу. Всего вволю — и хлеба и скотины. Хорошо живем, лучше, чем дома жили.

Между прочим я спросил, не обижают ли их бродяги. Пока старик разглаживал бороду, прежде чем ответить, за него ответила баба, явившаяся откуда-то со двора, точно нарочно для этого случая. Она с видимым удовольствием рассказала мне о бродягах, которые здесь нередко проходят, и, кстати, о татарах, которые живут неподалеку целыми селениями.

— Бродяги народ смиренный,— говорила она,— никого не трогают, а вот татаришки проклятые — эти шалят. Поедешь, оглядывайся, а то чемодан-то отвяжут. Так в канавах и лежат, нехристи, одни головы выставят и на тебя глазищи наведут.

— Разбойничают, что ли?— спросил я.

— Нет, не разбойничают, а народ, известно, голодный, ну, и норовят, как бы чего отвязать. Поедешь, оглядывайся. Дело-то к ночи!

Такое напутствие хотя и не смутило меня, но было все-таки неприятно. Что за удовольствие оглядываться да беречь чемодан, который привязали сзади тележки, когда до сих пор я ехал без всякой печали! Однако что ж поделаешь: сел в пестерёк и поехал. Деревня осталась позади, и через пять минут мы были совершенно одни с ямщиком среди проселочной дороги. По сторонам тянулись за канавами широкие поля, на небе светились первые звезды, и из-за темной черты гори-

зонта выглядывал край луны, огромный и красный, как королек-апельсин.

— Вон он, проклятый, залёг,— сказал ямщик, указывая кнутом в сторону. Чисто волк голодный!

Я поглядел. Из канавы, правда, торчала чья-то голова, но, сколько я ни оглядывался, она не обнаруживала ни малейшего движения, ни малейшего желания приблизиться. А все-таки было неприятно.

Прошло с полчаса. Навстречу попалась быстро несущаяся телега с четырьмя седоками.

— Куда те чёрт несет!— крикнул на них ямщик, когда они чуть не прижали нас к канаве. — Ишь, распустили вожжи, косоглазые!

В ответ раздалось: Тпрру! И затем послышались обиженные голоса, говорившие не по-русски.

— Нечего лопотать! Держи право, леший, чего жмешься!

Затем мы благополучно разъехались и продолжали свой путь, не встречая более никого.

XXIX

Проселочная глушь

Поздний вечер. Маленькая деревенька, куда привез меня мой ямщик, казалась мне глухою, а двор, в который мы въехали, стоял, кроме того, на самом краю селения.

— Дайте лошадей,— сказал я хозяину.

— Куда изволите ехать?

— На Курган.

— Пожалуйте в горницу, лошади будут поутру.

— Мне нужно сейчас!— возразил я.

— На ночь глядя не дам. Дорога пойдет лесами, долго ли до греха! Здесь татаришки иной раз дурачатся. Будет светло, пожалуйте, а сейчас не дам, как угодно.

Оставалось только слушаться.

— Пожалуйте, переночуйте. Чем свет подадим тройку.

Меня ввели в просторную комнату и зажгли огонь.

— Может, чайку желаете? У нас самовар кипит.

В комнате, куда меня поместили, стояли по стенам узкие лавки, висели иконы, украшенные вербой и разноцветною резаною бумагой, стоял неизбежный «буфет» с посудой и стол, но не было кровати.

— Где же я лягу?— спросил я хозяина, который входил ко мне то и дело: то притащил мой багаж, то принес чаю, то позабыл что-то спросить.

— А вот,— указал он мне на пол, среди комнаты, где лежал в виде ковра широкий серый войлок. — Теперь не зима, не холодно.

Едва я принялся за чай, как вошла хозяйка.

— Рано ли завтра будить?

Через минуту наведался хозяин.

— Парой поедете али тройкой?

Пока я пил, они попеременно входили ко мне чуть не каждую минуту. Наконец, вошел работник, здоровенный детина.

— Не помочь ли чемодан развязать?

Этого я уже выгнал без церемонии. Через минуту опять явилась хозяйка. Она подошла к столу и молча стала осматривать его, точно потеряв что-то.

— Ишь ты оказия!— воскликнула она, наконец,— ищу, ищу, а он тут как тут!

Она протянула руку к лавке, перегнувшись через стол, достала большой кухонный нож и унесла с собою. Все эти мелочи и случайности, в связи с глухою деревней, поздним временем и отказом в лошадях, повлияли на меня невесело. Почем знать, куда я попал? Настроение духа и без того уже было несколько приподнято рассказами о «татаришках», видневшеюся головой в канаве и неудовольствием со встречною телегой, а туг еще этот нож и постоянное хождение ко мне хозяев. Легкое недоверие закралось мне в душу. Где я? думалось мне. И словно нарочно, за стеною слышался все время говор: это поили чаем моего ямщика. Потом все затихло, а через минуту зазвонили колокольчики,

и было слышно, как они удалялись. Ямщик мой уехал, и я остался один.

Со мною был большой офицерский револьвер[58]. Я вынул его из кобуры и стал глядеть, есть ли заряды. Вошел опять хозяин.

— Я, мол, насчет свечи,— начал он. — Может, новую вставить?

Заметив револьвер, он покосился на него и сказал.

— Вещь-то хорошая!

— Без этого, брат, нельзя!— ответил я ему с досадой.— Мало ли что случится!

— Это действительно,— согласился он. — С этим спокойней.

Затем я предложил ему более не входить и велел приготовить тройку к рассвету. Далее оставалось только спать. Отдыхая за целую неделю не больше 3–4 часов в сутки, я чувствовал себя настолько утомленным, что не мог просидеть еще полчаса, чтобы не заснуть на месте; поэтому на войлок положил пальто и подушку и приготовился лечь. По обыкновению, хотел запереть двери, но здесь вышло опять недоразумение: у двери болтался большой крючок, а петли не было, так что запереться было нельзя. Может быть, это опять простая случайность, но в связи со всем прежним — случайность неприятная. Погасив свечку, я лег на войлок, накрылся пледом и, хотя за стеной все еще слышалось шептание, сейчас же уснул. Бледное серое утро глядело в окошко, когда я снова открыл глаза. Надо мной наклонилась старуха и трогала за рукав.

— Вставай, барин! Пора.

На столе уже шипел самовар и лежали сваренные всмятку яйца; тут же лежал и позабытый мною с вечера револьвер. Взглянув на него, я сразу вспомнил вчерашнюю историю, и мне стало так стыдно перед этой старухой, что я чуть не покраснел. Но ведь надо же было скопиться всем этим случайностям вместе: и глушь, и надоедливые посещения хозяина, и нож, и «татаришки»... Словно нарочно!..

Опять потянулась проселочная дорога с постоялыми дворами, селами и дружками, опять на целый день предстояло гнуться утомленной спине, томиться усталым бокам. Но это уже был последний день.

К полудню мы выбрались, наконец, с проселка на столбовую дорогу и покатили мимо почтовых станций. Если б не это, я промок бы опять до костей, потому что на небе нависли тучи и накрапывал уже дождь, а у дружка не было крытого тарантаса.

— Ничего!— утешал он меня. — Развеет. Ей-ей, развеет! Не будет дождя.

— Чего не будет, когда уж он есть!

— Не беда!

— Тебе не беда дома сидеть, а мне 30 верст ехать.

— А рогожка на что? Возьми рогожку, пойдет дождь, ты и накройся. А то тарантас-то я, признаться, отпустил. Один пестерёк остался.

В открытой корзинке я отказался ехать. Не будь здесь, как вчера, почтовой станции, пришлось бы примириться и взять рогожку, но теперь я был под покровительством почты и велел ехать на станцию, которая стояла в том же селе. Дождь начинал расходиться и вскоре пошел, мелкий и бесшумный,— очевидно на весь день. Хорош бы я был через 30 верст в своей рогожке!

На почте зато было все пьяно, начиная с начальника и кончая ямщиком. Лошадей мне запрягали более получаса, причем вымочили на дожде весь багаж, а подушку при перекладке уронили в лужу. Наблюдавший за всем этим начальник стоял, раскачиваясь, на крыльце, с взлохмаченными волосами и неясным взглядом и, колотя себя в грудь кулаком, кричал мне во весь голос:

— Можете на меня жаловаться! Можете искать с меня все убытки!

Хоть я и старался его успокоить, что не буду ни жаловаться, ни искать убытков, но он повторял в каком-то азарте:

— Можете! Можете хоть голову с меня снять! Жалуйтесь, топите меня, обижайте меня! Погубите меня!

В голосе его прозвучала скорбная нотка. Я взглянул на него. Он плакал. Слезы обильно струились по щекам. Но руками он продолжал махать над головою и колотил себя в грудь.

— Жалуйтесь! Жалуйтесь! Я ничего не имею против!

Было уже, сравнительно, недалеко до Кургана, и я ехал весь день на почтовых, более не обращаясь к дружкам. Когда свечерело, мне оставалось проехать последние 26 верст,— и конец всем этим ямщикам и смотрителям, напоминавшим мне седую старину! Хоть и много неудобств и мелких неудовольствий сопряжено с ездой на лошадях, однако становилось жалко расставаться с этими шустрыми, невзрачными конями, которые выносят тяжелый тарантас, точно скорлупку, на крутой пригорок, лишь потряхивают гривами, распустив по ветру хвосты; жалко было покидать и этот громоздкий тарантас, который был бы смешон где-нибудь на улице большого города, но здесь, среди простора и дорожных пробоин, он незаменим и не боится никаких ямок и бугорков, а несется за лошадьми верст по двенадцати в час и горя мало!

Близилось к полночи. Погода стояла тихая и теплая, после дождей дорога была грязна, и комья земли летели в меня от колес. Вокруг широко раскидывались поля, где паслись стреноженные кони, пылали там и сям костры, пахло сеном; близость большого города сказывалась уже во всем: вон виднеются впереди на темном фоне неба мелькающие зеленые точки, будто звезды,— это сигналы железной дороги; вот доносится издали лай собак; вот сверкнули рельсы, вот показалась застава,— и мы въехали в дремлющий город Курган.

В обывательских домах темно, но гостиница «Сибирь» освещена. Здесь мне дали просторный номер в две комнаты и даже предложили ужин, несмотря на поздний час.

— У нас, хоть в четыре часа ночи пожалуйте, ужин будет!

XXX

Город Курган и его легенда

В семи верстах от теперешнего города Кургана существовало некогда татарское Царево Городище, о котором передают следующее предание.

У влиятельного хана была единственная дочь, отличавшаяся необыкновенною красотой, но судьбе угодно было в юности прекратить ее жизнь, и хан похоронил свое милое дитя вблизи своего жилища, а над могилою приказал насыпать высокий курган, куда зарыли много разных сокровищ, драгоценных камней, серебра и разных украшений...

Но тут сказание приходится временно прервать и перенести рассказ на реальную, совсем прозаическую почву. Русские удальцы (назовем их хоть так, хотя они заслуживают несколько иного названия) проведали об этой могиле и, несмотря на беды от кочевавших неподалеку степных племен, пробирались сюда, чтобы поживиться чем бог послал. Бывало, в то время как они рылись в курганах и буграх, киргизские наездники убивали их на месте или брали в плен. Таким образом, с незапамятных времен, задолго до водворения здесь русских, был разрываем кладоискателями и Царев курган, откуда мало-помалу извлекались серебряные сосуды, дорогие украшения и разные вещи...

Теперь окончим предание: ханская дочь, при постоянном нарушении ее могильного покоя, не могла более оставаться в земле, и в одну летнюю ночь, когда кладоискатели разрыли курган, из глубины его на серебряной колеснице, запряженной двумя белыми конями, показалась девица-красавица, с распущенными волосами, в блестящем головном уборе, с разными драгоценными каменьями и богатейшем татарском наряде; она мгновенно пронеслась к западу и вместе с колесницей утонула в глубине Чухломского озера...

Таково сказание.

Царев курган сохранился и до настоящего времени, по тракту, в 7 верстах от города; это огромная земляная

насыпь правильной формы усеченного конуса, окруженная земляным валом и рвом. Кроме этого, таких курганов в округе находится еще очень много.

Теперь в городе Кургане около 8 тысяч жителей, причем добрая половина ссыльных. Сюда были сосланы в 1832 г. многие декабристы, в том числе барон Розен, способствовавший здесь введению полезных систем сельского хозяйства, и г-жа Нарышкина, способствовавшая правильному обучению и воспитанию детей; здесь же отбывали свое поселение и поляки за восстание в 1830 г. Город имеет в настоящее время 8 улиц, более тысячи домов, городской банк с оборотом чуть не в миллион рублей, училища и женскую прогимназию[59]; в 1893 г. основана лесная школа, которая уже выпустила на первый раз шесть воспитанников с правами лесных кондукторов. В благотворительных учреждениях тоже нет недостатка. Вообще город во всех отношениях оправдал вещие слова барона Розена, который в 1837 г., уезжая, говорил, что Курган обещает быть не пугалищем, не местом и средством наказания, но вместилищем благоденствия в высшем значении слова.

Теперь он соединен уже с Россией железною дорогой и, как показало дело, с успехом выдержал большую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку.

Заговорив о промышленности, нельзя не упомянуть имени Д. И. Смолина, как самого крупного заводчика, чтобы наглядно показать степень торгового развития города. Заимки[60], принадлежащие г-ну Смолину, разделяются почтовым трактом; здесь, кроме домов и необходимых построек, находится каменный винокуренный паровой завод; при трех заторах получается вина до 1100 ведер в сутки, а ректификационный аппарат, помещенный в трех этажах особого отделения, может очищать до 1100 ведер сырого спирта в 22 часа*. Кроме того, работает крупчатая паровая вальцовая мельница,

* Сведения эти заимствуются из книги, приготовленной к выставке: «*Обзор экономического и сельскохозяйственного состояния Курганского округа и г. Кургана*». Изд. 1895 г.

освещаемая электричеством; продуктивность ее определяется в 1200 пуд. в сутки; крупчатка имеет сбыт не только местный, но расходится по многим губерниям и достигает даже Европейской России (Нижний, Москва и т. д.). На салотопенном заводе перепускается коровьего масла до 30 тыс. пудов и вытапливается сала 17 тыс. пуд., которое идет в Казань и Москву. Четвертый завод — пивоваренный, вырабатывающий 161 тыс. ведер пива и 21 тыс. ведер меда. Смолинское пиво — лучшее в Западной Сибири. При заводах имеется приемный покой в ведении врача, а служащим, прожившим 20 лет, назначается пенсия.

Если повсюду чувствуется надобность в народном образовании, то в Курганском округе этот вопрос составляет неотложную необходимость. Сколько зла и сколько несчастья терпит народ благодаря своей дикости, ярко доказывают многие примеры. Вот хоть бы взять такой случай.

У всех еще в памяти голодный год. Даже извозчики то и дело указывают на разваленные домики и говорят, что все это «голод съел». Дело доходило до того, что в нужде кормили скот соломой, а для этого разоряли крыши и снимали солому, многие, не в силах кормить, резали скот, но цена на мясо доходила до 2 коп.[61], и «убоина» шла чуть не даром... Но как же относился народ к своему бедствию? Главным бичом полей и злейшим врагом пахаря являлась «кобылка», род саранчи. В апреле 1892 г. ее уничтожено было 140 тыс. пудов, а ею уничтожено 30 тыс. десятин посева. Но понудить крестьян к этой борьбе было необыкновенно трудно. В народе разнеслась молва, что «кобылка» послана Богом в наказание людям, и потому уничтожение «кобылки» будет борьбой против Бога. «Надо дожидать: что Бог даст, то и будет!»— рассуждал народ, а более усердные стали уверять, что в деревнях, где против «кобылки» не принимали мер, хлеба остались целы. Таким образом, прежде чем бороться с несчастьем, приходилось побороть упорное народное невежество. Посевы погибали, а народ, одержимый суеверным страхом, бездействовал. Большого труда стоило убедить его, и в этом успел про-

фессор г-н Линдеман, настаивавший на уничтожении «кобылки» в коконах. Он так разуверял крестьян:

— Голод есть также божеское наказание, однако вы добровольно не умираете, а просите помощи от правительства, и правительство охотно дает вам помощь, не боясь последствий Божьего гнева. Вот и вам следует бороться с «кобылкой», не давать ей уничтожать плоды вашего тяжелого труда.

Это простое и ясное доказательство так подействовало на крестьян, что они целыми деревнями выходили на работу и уничтожали «кобылку».

К числу диких и вредных сторон народной жизни относятся ворожба и «антреприза нищих». Почти в каждой деревне, а уж в волости непременно, имеется своя знахарка, берущаяся лечить от всяких болезней; она же, впрочем, и колдунья-ворожея, умеющая приговаривать парня к девушке (на ихнем жаргоне «присушить»), возвращать супружескую верность, найти украденное, послать мор на скот и сделать кого-либо несчастным. Эксплуатация народного невежества совершается открыто, и крестьяне, боясь таких женщин, убирают им поля, возят дрова, вообще содержат на свои труды, и «колдунье» живется очень удобно: завела себе черного кота да трехшерстную собаку — и живи на готовых хлебах!

«Антреприза» нищих — дело уже вовсе возмутительное и гадкое. Какой-нибудь деревенский пройдоха, завербовав несколько типичных калек, возит их по ярмаркам и весь сбор забирает себе, выдавая им условленную месячную плату. На каждой деревенской ярмарке можно встретить эту калечную группу с их арендатором среди других нищих. Тут и слепой старик с красными вывернутыми глазами, и уродливая женщина, и юный идиот с искривленными пальцами, а напротив них сидит здоровенный детина в цветной рубахе и плисовых шароварах, забранных в голенища «гармонией»; взор его устремлен попеременно на деревянные чашки, стоящие перед каждым нищим, в которые опускаются подаяния. Нищие безостановочно поют, крестятся и самым жалостным тоном взывают:

— Подарите, православные, бедным, темным калекам за души спасение, за доброе здоровье и греха отпущение!— и опять начинают выводить песню о душе:

Я в тебе, тело, жила, как во тьме была;
Тебе, тело белое, в сыру землю идти,
Тебя будут черви точить,
А мне на ответ идтить —
Перед Господом и на всем миру на страданьице!..

Иногда среди песни кто-нибудь бросит в чашку монету и просит помолиться; песня прерывается, и нищие хором начинают тянуть «царство небесное», а потом опять продолжают прерванную песню.

К вечеру антрепренер опустошает чашки и весело спускает в кабаке «копеечки», поданные за здравие либо за упокой.

Таковы плоды народной дикости, метко названной «властью тьмы».

В то время за чертой города строился железнодорожный мост через реку Тобол. Это — громадное, миллионное сооружение. Всего нужно было выложить пять быков и два устоя, длиною на полверсты, ввиду широких весенних разливов. Кессонными работами[62] занимались уже второй год более 300 человек. Побывав на работах, я поехал взглянуть на житье переселенцев, которые помещались за городом, близ кладбища на лугу, называемом, если не ошибаюсь, Мещанская Поскотина. Здесь, рядом с крестьянскою больницей, разбито 18 киргизских юрт, т. е. высоких и просторных войлочных шалашей, только что купленных; ранее переселенцы помещались под навесом.

Движение через Курган сравнительно было ничтожное — проходила всего с весны шестая тысяча. Я застал уже только 18 семейств. Все они Полтавской губернии и все идут в Барнаул. Разместились они удобно и просторно, больных никого не было, за исключением одного мальчика. Совсем не та картина, что в Тюмени!

Из разговоров выяснилось, что причина переселения — теснота: на родине есть на всю семью десятины 3–4, а здесь, в Сибири, на каждую душу 15 десятин.

До Кургана они ехали по машине[63], а дальше поедут на подводах.

— За три души да за 13 пудов багажа заплатили мы 30 руб.,— рассказывал мне один «самоход». — Лошадь здесь тоже рублей по 30—40, а сено — пятак за пуд. За обед здесь берут по три копейки с души, дают хлеба фунт да ковш приварки, а за чай особенно полагается по копейке.

Очень бедным обед выдается даром, больница принимает их тоже бесплатно. Вообще, сравнительно с Тюменью, здешним переселенцам жилось хорошо.

Железнодорожное движение между Курганом и Челябинском официально не было еще открыто, а ходили только рабочие поезда; отправлялись они не ежедневно, без всякого расписания, вагоны были одни товарные, а за проезд не бралось ни копейки, требовалось только разрешение. Как раз очередной поезд отходил на другой день поутру, и мне выдали пропуск. На всякий случай пришлось запастись провизией.

XXXI

По «Великой Сибирской»

Тихое, солнечное утро... Среди загородного простора на рельсах стоят вытянутые в одну длиннейшую линию 37 товарных вагонов. Ни публики, ни прислуги — никого не видно поблизости. Извозчик сложил на песок возле поезда мой багаж и уехал обратно в город. Через несколько времени показался паровоз, двигавшийся задом; наконец, он подходит ближе и стукается в вагоны, которые заскрипели и подались назад. Появился какой-то мастер, сцепил их с локомотивом и ушел далеко, вдоль по линии.

— Вы едете?— обратился ко мне какой-то человек, в высоких сапогах, длинном сером пиджаке и в картузе.

— Еду.

— В Челябу?

— В Челябу.

— Разрешение взяли?

Я показал выданную мне записку, и он успокоился. Оказался он здешним обер-кондуктором, моим будущим спутником, покровителем и властелином, потому что в его руки отдавалась всецело судьба пассажиров.

— В котором бы это вас приютить?— сказал он, весело щурясь на линию вагонов. — Ну, вот хоть в этом.

На вагоне, который он указал, было написано: К.Ж.Д., потом следовал номер и приписка «Зап. Сиб.».

Как известно, товарные вагоны имеют двери только с боков, широкие, отодвигающиеся чуть не во всю длину, но без стекол, без окон и без тормозных площадок. Впрочем, для света или для воздуха в углу близ крышки пробита откидная форточка. Лестниц или порожков вагон тоже, конечно, не имеет, и влезать в него не с платформы, а с земли довольно высоко и затруднительно. Для этого нужна особая сноровка, уроки которой мне и преподал сейчас же обер-кондуктор. Сначала он велел рабочему отворить и вымести вагон, представляющий собою пустой огромный ящик.

— Вот как надо садиться. Учитесь, а то не влезете.

Кондуктор, объясняя мне все свои движения, ухватился руками за железную скобу, подпрыгнул и всунул ногу в железное стремя, приделанное ниже пола, потом занес другую ногу в вагон, встал на колено, перевернулся и выпрямился.

— Вот я и здесь!

Поглядев на меня, он спрыгнул на землю и заставил меня ради опыта проделать то же самое. На первый раз мне это удалось не совсем, а потом, под руководством опытного наставника, я начал влезать легко и проворно, точно сам был кондуктором.

— Главное, вовремя нужно подпрыгнуть! Раз, два — и там!— умудрял меня мой учитель.

Очевидно, ему, как и мне, нечего было делать. Потом он куда-то ушел, посоветовав взять с собой либо бревнышко, либо полено.

— А то сидеть будет не на чем.

Работник уже положил в вагон мой багаж, но я захватил на всякий случай полено, которое оказало мне впоследствии действительную услугу.

Прошло с полчаса. Назначенное время отхода поезда давно уже миновало, но он стоял, и не было никаких оснований думать, что он скоро пойдет. К вагону подошел еще пассажир-подрядчик и принес под мышкой огромный самовар, составлявший весь его багаж.

— Экая жалость,— обратился он ко мне,— самовар-то здесь, а труба в Челябе осталась, а то чайку бы попили.

Прошел еще час. Наконец, обер-кондуктор подал свисток, и мы с подрядчиком влезли в вагон. Несколько минут поезд стоял недвижимым, а потом без всяких сигналов и звонков тронулся и пошел не спеша, что называется, ни шатко ни валко. Через полтора часа первая остановка, среди поля, возле дощатой избушки. Во всех 37 вагонах ехали только мы с подрядчиком да два кондуктора со своим главарем. Дверь у нас оставалась все время открытою, и в широкое отверстие мы любовались полями, где стоял такой резкий стрекот «кобылки», что даже слышался сквозь шум и грохот колес этот треск миллионов крыльев. Накрывши свое полено пледом, я сидел на нем как на стуле, а подрядчик, заломив руки за голову, растянулся во весь рост на полу.

На первой станции чьи-то таинственные руки бросили нам в вагон две горсти угольев и скрылись; еще через час, на следующей остановке, подали ведерко воды.

— Что это значит?

— Обер велел,— послышался голос, для самовара вашего.

Вообще любезности «обера» не было границ. Подрядчик сейчас же влил воду в самовар, положил уголья и стал разжигать их, причем, за неимением трубы, начадил на весь вагон, так что пришлось открывать дверь с другого бока и устроить сквозняк. Долго стоял самовар без всяких признаков кипения, только дымил голубым, едким дымом благодаря газетной бумаге, которую в него опускали; наконец, через полчаса зашумел... Со мною был чай, дорожный стакан и чайник, но не было само-

вара; у подрядчика был самовар, но не было ни чая, ни принадлежностей; у «обера» не было ничего, кроме угольев и воды, но, соединившись общими усилиями, мы достигли того, чего не могли бы достигнуть каждый в отдельности, а до Шумихи, где имелся буфет, было еще очень далеко.

С поездом творились в это время всевозможные приключения; особенно надоедали «стрелки»: то едем вперед, то вдруг остановимся и начинаем пятиться; пятимся, пятимся и опять поедем вперед. Остановки тоже неравномерные: либо 5 минут, либо около часа. Как только застрянем, так прыгаем из вагона и идем гулять в поле или в рощу, или сидим на насыпи от нечего делать. Так проходит весь день.

В Шумиху приехали уже перед вечером. Здесь строился большой вокзал, и временный буфет помещался шагов за триста в легкой дощатой постройке.

— Долго ли простоим?— спросил я «обера», чтобы сообразить, успею ли пообедать, а то здесь на станциях не только не дается звонков, но даже обходятся без свистка: просто поезд стоит-стоит, да вдруг и тронется ни с того ни с сего.

— А как пообедаете, так и поедем,— добродушно ответил «обер». — Не торопитесь, без вас не уедем.

За буфетом оказались такие же добродушные порядки. Зеленых щей и картофельного супа, которые, ввиду требования, поставили в печку разогреть, полагалось на порцию ровно столько, сколько позволял каждому аппетит. Перед вами ставится миска, по емкости «семейная», человек на десять; можете наливать из нее сколько угодно, и когда насытитесь, это будет считаться порцией, которая стоит 20 или 25 коп. На жареное условия таковы же, а за кипяток, взятый в чайник, совсем ничего не берется.

Пообедав, я спросил себе чаю; в это время вошел в буфет «обер».

— Не пора ли ехать?— сказал он мне.

— Как хотите.

— Ах, вы чай кушаете... Ну, кушайте, мы подождем.

После Шумихи долго не было остановок; наконец, когда уже закатилось солнце, поезд остановился у резервуара брать воду, но водокачка оказалась запертою на замок.

— Где сторож?— слышались чьи-то голоса, перекликаясь с одного конца поезда на другой.

На грех, сторожа нигде не было. Пробовали стучать и кричать, но ничего не выходило. Послали отыскивать сторожа. Время проходило даром, но что ж поделаешь! Наконец, где-то сторожа отыскали. Он шел в одной рубахе, взлохмаченный, и слегка пошатывался.

— Что ж ты, такой-сякой!— накинулся на него машинист. — Отпирай живей!

Но по пословице «пришла беда — отворяй ворота» — сторож пришел без ключей. Он растерянно обшаривал себя, ворчал, вздыхал и кончил тем, что пошел обратно, куда-то через все поле. Пока он дошел и пока возвратился, стало почти темно, а когда все устроили и накачали воду, наступил уже настоящий вечер. Какие-то досужие люди, когда мы дожидались, пришли к нам и занимали нас беседой, рассказывая, как один поселянин, желая догнать поезд, бежал-бежал за ним да и умер.

— А все отчего?— вопросительно добавил рассказчик и хотел было разъяснить, но другой его опередил.

— Отчего... Известно, от натуги.

— Нет, от дикости своей, от непонятия.

— Ан, от натуги.

— По-моему, от дикости.

— От натуги.

В Челябинск мы приехали в полночь. Город стоит далеко от станции, а поезд на Златоуст отходил рано поутру, поэтому пришлось искать ночлега в ближайших строениях, расположенных через дорогу против вокзала, называемых гостиницами, хотя в сущности это не более как кабаки. Станционный носильщик, взявшийся меня проводить, привел сначала в душную комнату, где спало уже трое проезжих и не было места, потом проводил в соседний трактир, где в первой комнате шла распивочная торговля, во второй игра на бильярде, а в

третьей мне постелили на пол тюфяк и обещали разбудить в 6 часов утра, прямо к поезду, и я заснул под стуканье шаров и возгласы: «В среднюю налево!» или «В угол дуплет!»

Это уже была последняя зауральская ночь.

XXXII

Урал. — Златоустовский завод

Снова Урал, снова живописная горная дорога, которая вьется точно змея, восходя вкручь. На этих изгибах поезд проходит медленно, осторожно. Из окна открывается чудная панорама на окружные горы, глядящие одна из-за другой или прячущиеся одна за другую; ближайшие определяются ясно с их лесами и кустарником, а дальние подернуты легкою дымкой полдневного зноя. Иногда встречается открытый тоннель с торчащими клыками прорубленной скалы, посредине которой проходит поезд, точно по коридору... Вот показался и Златоуст. Думается, вот он — рукой подать! Но поезд проходит мимо, и селение надолго исчезает из глаз. Наконец, сделав длиннейший обход, мы подъезжаем опять к тому же месту, только с другой стороны оврага, и останавливаемся у платформы.

От вокзала до города — верст пять. Кругом возвышаются горы, во главе с высоким и красивым Таганаем; у подошвы холмов тянется селение и, точно театральная декорация, стоят развалины бывшего ночлежного дома, потом развертывается лоно обширного заводского пруда, потом виднеются главы собора,— и бричка моя въезжает в центр, на главную площадь, где стоит арсенал и памятник императору Александру II, окруженный цветником с чугунною решеткой; позади него возвышается «сопка» (гора), с маленькою часовней на вершине. Еще несколько минут — и я уже в гостинице.

Город с 20-тысячным населением стоит при впадении речки Тесьмы в реку Ай. Начало его относится к 1754 г., когда тульские купцы Мосоловы устроили на

купленной у башкир земле железоделательный и медноплавильный завод, впоследствии разоренный Пугачевым; по возобновлении он переходил неоднократно к разным владельцам и, наконец, с 1811 г. остался за казною. Из Золингена и других мест сюда были вызваны оружейные мастера, и началась выделка холодного оружия. Теперь это обширный завод с тремя тысячами рабочих.

Вероятно, многие встречали ножи и металлические витые тросточки здешней работы, с надписью «Златоуст». Все эти предметы вырабатываются как казенною фабрикой, так и частными кустарями. В данном случае я буду говорить только о казенных работах, доходящих иногда до степени искусства. При оружейной фабрике существует музей, где собраны образцы всего, что сделано на фабрике за все время ее существования.

Принимая не точные, но круглые цифры, здесь разрабатывается руды до 70 тыс. пудов в год, выплавляется чугуна 350 тыс. пудов, выделывается железа[64] 200 тыс. пуд., мартеновской стали[65] 250 тыс. пуд. и почти полмиллиона артиллерийских снарядов, шрапнелей и бомб; холодного оружия тоже выпускается до полумиллиона штук; выработкой клинков Златоуст особенно славится; здешние клинки — своего рода знаменитость. Историю этого знаменитого клинка мне удалось проследить от самого начала, т. е. пока это был простой слиток стали (болванка), и до конца,— когда получилась из него сабля.

Я видел, как раскаленную болванку начинают прокатывать и делать из нее прутья, которые подводят под молот и вытягивают из них «кованцы», т. е. в грубом виде клинок; затем его несут в кузницу и отправляют в закалку; там сперва нагревают его в свинцовой ванне в 980 градусов, потом охлаждают в воде, но он еще так хрупок, что должен выдержать ванну из свинца и олова, где он приобретает «вязкость», т. е. делается уже неломким; затем его точат и придают правильную форму. Существует два способа точения, или «точки»,— мокрая, которая бывает недостаточна, и сухая, при которой рабочие не живут более 12 лет и умирают

чахоткой; за это им каждый год считается за три. Работа очень тяжелая, требующая большой аккуратности, так как нужно обточить клинок и подогнать его размеры до одной сотой дюйма[66]; из точки клинок идет в полировку, а затем уже поступает на испытание, где им бьют два раза плашмя изо всей силы по доске, правою и левою стороной, затем бьют лезвием по бревну и по такому же клинку, как он сам, только незакаленной стали; после этого пробуют его острие, которым он должен проколоть стальную пластинку на $^{1}/_{16}$ дюйма. Если все эти пробы оказались удачными, то клинок помещают в особый станок для последнего испытания. Назначение этого станка таково: воткнутый в него стоймя клинок сгибают посредине на 5 дюймов, так что получается дуга, а на вершину его кладут тяжесть в 50 фунтов и затем освобождают. Согнутый клинок должен выпрямиться сам, поднять нагрузку и стоять, как стрела. Только тогда он считается вполне хорошим и годным. Среди многих, даже военных, распространено заблуждение: они хвалятся клинком, который сильно гнется и извивается чуть не колесом; оказывается, это грубая ошибка, потому что клинок должен не только рубить, но и колоть, а для этого необходима точная предельная упругость, иначе красиво гнущийся клинок ничего не стоит и может считаться только игрушкой.

Здесь же выделывают знаменитые клинки дамасцированной стали (сварочные булаты); это высший сорт, идеал холодного оружия. Настоящий булат у азиатцев передается как родовая драгоценность; он легко перерезывает брошенный на воздух газовый платок, тогда как клинок из самой лучшей инструментальной стали в состоянии перерезывать только плотные виды шелковой материи. Главный признак, которым отличается булат от обыкновенной стали, есть узор, получаемый металлом во время ковки, т. е. полосатый, струйчатый или коленчатый, и чем крупней и белее рисунок, чем темнее фон и звук долже и чище, тем булат ценится дороже. Нынешние германские булаты (Клингенталь) только дамасцированная сталь, и узор на них получается вытравлением. В России изготовлением булатов

занимался (в 1828—1837 гг.) на Златоустовском заводе горный инженер полковник Аносов[67], которому, после 9-летнего настойчивого труда, удалось достигнуть получения настоящих булатов, доказательством чему служит приготовленный им клинок каратабан для великого князя Михаила Павловича*.

Теперь на заводе делают булаты в форме шашек, кинжалов и ножей, причем волнистый рисунок клинка не вытравляется, но получается сам, благодаря множеству мелких полос, перекрученных и сваренных между собою. Мне показывали эти материалы. Берется 26 металлических полосок в $^3/_4$ дюйма ширины, $^1/_{16}$ толщины; из них сваривают так называемый пакет и под молотом вытягивают его в стерженьки, около четверти квадратного дюйма; затем они нагреваются и скручиваются между собою в виде винта с четверною нарезкой; 16 таких винтов кладут в 2 ряда, по 8 штук, один на другой, и опять сваривают в новый пакет, который уже после вытягивают в полосу; это и есть клинок. Трудно себе представить, какая получится упругость и, так сказать, «сила» в этом сборном клинке! Такие булаты ценятся довольно дорого, но они уже не сломаются, не зазубрятся, и даже нарочно с ними ничего не сделаешь, чтоб они испортились. Это — оружие вечное.

В общем завод представляет собою нечто грандиозное и способен оставить на зрителя сильное впечатление. То видишь, как в гигантскую чашу всыпают руду и уголь и оттуда вдруг вылетает широкое страшное пламя, бросающееся с ревом до потолка, то подходишь к мартеновской печи с баснословною температурой в 1600 градусов, где кипит в жидком виде сталь; когда открывают эту печь, то в нее можно смотреть, только держа перед собою синее стекло: там такой адский жар и свет, что можно ослепнуть от одного взгляда; даже ломит глаза и при синем стекле. Помимо доменной печи, пудлинговых[68], сварочных и других заводских печей, машин и приспособлений, помимо лаборатории, где определяют руду, помимо фабрик литейной и прокатной, кирпично-

* См. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

го завода, ремонтной и столярной мастерских,— здесь есть очень интересное отделение позолоты клинков. Это украшают оружие, вбивая в него тонкую золотую проволоку в виде рисунка, иногда замечательно красивого. Особенно отличается здесь мастер Варламов, самоучка-художник; работы его достойны выставки; впрочем, они и так на выставке. В заводской витрине среди многих дорогих вещей находится топор, на котором сделан рисунок, изображающий с одной стороны летний пейзаж, а с другой зимний. Это такая прелестная вещь, что ею невольно залюбуешься.

В арсенале, занимающем несколько зал, собраны образцы всех заводских работ: сабли, кинжалы, латы, шлемы, пики и проч. Все это сложено в виде разных фигур: ваза из сабель, шатер такой же, орел из ножей; бюст императора Николая I на пьедестале из шашек, и все в том же роде. Здесь же находятся ядра, бомбы, минералы, библиотека и архив.

При заводе открыт магазин Общества потребителей и касса взаимопомощи, куда вносится 2% с жалованья да 2% прибавляет казна; выдаются пособия и ссуды. В здании арсенала отведена, между прочим, небольшая зала для сцены, где даются приезжими артистами спектакли и концерты.

Памятник «Царю-Освободителю» воздвигнут на народные средства, собранные по городу и уезду.

XXXIII

На сопке

После ночного дождя стояло тихое безветренное утро; туман рассеивался, сквозь облака начинало проглядывать солнце; ожидался ясный солнечный день. До поезда оставалось еще много времени, и я зашел сначала в собор, где пели по кому-то панихиду, потом, увидав узенькую дикую тропинку, которая, извиваясь по всей горе, вела на вершину сопки, начал по ней взбираться, наслаждаясь чистым и легким горным воздухом. Чем

выше я уходил, тем красивее становилась окрестная картина; я брел не торопясь, нередко останавливаясь передохнуть и полюбоваться, и, наконец, достиг вершины.

Здесь поставлена небольшая сквозная беседка, напоминающая пятигорскую Эолову арфу, называемая здесь часовней; она построена в память посещения г. Златоуста покойным императором Александром II, в 1837 г. Теперь она уже обветшала, облупилась и, занесенная на такую высь, глядит сиротой. Внутри нее все пусто, висит только старый образ Александра Невского. Я опустился возле нее на дикий камень среди травы и загляделся вдаль. Туман редел, и горы очерчивались яснее: виднелись оба Таганая, Большой и Малый, тянулись повсюду холмы, внизу зеленели долины. Недвижимые тучи местами растаяли, разорвались на тысячи кусков и целыми полчищами двинулись к северу; солнце начало пригревать, под его лучами заблестела искрами мокрая трава и засверкали мокрые обнаженные плиты диких камней. Внизу виднелись заводы, собор и памятник, по берегу широкого пруда раскинулось под горою большое селение; на лужайке пасся домашний скот, по дороге шли люди... Как все это далеко от меня и все кажется каким мелким и маленьким!

Скитанию моему наступал конец. Отсюда предстоял путь на Самару и Волгу, от которой до Москвы, что называется, рукой подать! Здесь уже не могло быть ни случайных задержек, ни произвольных остановок где вздумается; отсюда размеренным ходом, в определенное время пойдет железнодорожный поезд, и из окна вагона можно будет глядеть на красивую горную природу и видеть, как среди холмов и леса стоят по сторонам огромные отвесные скалы, похожие на развалины замков. Когда среди зелени вьется где-нибудь горная серая тропинка, или блестит ручей, или из-за лесной чащи выбивается и стелется по лощине синеватый прозрачный дымок,— то думается невольно: что там такое? кто забрел в эту дикую, глухую рощу?.. А когда поезд проносится по узкому коридору, с высокими изуродованными стенами, из которых зловеще торчат острые

камни, точно зубы убитого зверя, то эта пробитая скала, эта раздвоенная каменная громада кажется тем сказочным дикарем-великаном, которого ранили и победили миллионы гномов... Оттуда, из-за этих гор, из-за рек и полей, из хлебородных прославленных русских губерний, тем не менее ежегодно тянутся многотысячные вереницы переселенцев, добровольно идущие по ту сторону Таганая искать новые счастливые места и заселять обширную Сибирь, чтобы слиться с ее прежним, вольным и невольным населением, прошедшим горнило этапов, перебродившим под гнетом и дающим в новых поколениях здоровых и честных тружеников. Там, за Уралом, лежала обширная страна и покоилась накануне своего возрождения страна с тяжелым и горьким прошлым, но со светлым и великим будущим...



КОММЕНТАРИИ

[1] *Кулаки* — до революции кулаками называли не зажиточных крестьян, особенно применявших наемный труд (как в советское время), а мелких ростовщиков и скупщиков сельскохозяйственной продукции. Деревня нуждалась в мелком краткосрочном кредите, и «благодетель», имевший небольшие, в несколько десятков рублей, свободные деньги, раздав «по-соседски» по 3—5 рублей, а то и по рублю в долг, затем вместо денег за бесценок брал небольшие партии хлеба, обработанного льна, пеньки, меда, шкуры и проч., перепродавая их. Этими долгами он зажимал «в кулак» окрестных крестьян, а, разжившись, нередко и помещиков, всегда нуждавшихся в наличных. Это мог быть мелкий сельский лавочник или кабатчик, даже не имевший земли, а арендовавший у «мира» за ведерко водки выморочную избенку.

[2] *«Шесть с половиной!.. Шесть!.. Шесть.. Пять с половиной!..»* — лоцман, руководивший проводкой судна по сложному фарватеру, или просто матрос на носу обычной саженью, большой линейкой с делениями, указывал в футах глубину воды.

[3] *...новые книги приобретаются на доходы от публики* — многие, особенно частные провинциальные библиотеки, были платными, а нередко и выдавали книги читателям за небольшую плату в виде гарантии возвращения их по прочтении.

[4] *Биармия* — в средневековых скандинавских сказаниях страна на крайнем северо-востоке Восточной Европы, богатая мехами, серебром, моржовой костью и проч.

[5] *«Господа бароны» Строгановы* — устюжские купцы Строгановы, торговавшие пушниной, в середине XVI в. снарядили на свой кошт экспедицию казаков во главе с атаманом Ермаком в Сибирь и, по завоевании ее, «поклонились» царю Ивану Грозному Сибирью. К XVIII в. это были уже богатейшие купцы и промышленники, за успехи в предпринима-

тельстве получившие от Петра I баронский титул, который нередко жаловался именно предпринимателям. Впоследствии роду Строгановых, прекративших занятия торговлей и промышленностью и давших немало видных военачальников и администраторов, был дан графский титул.

[6] *Пуд* — старая русская мера веса в 16,38 кг.

[7] *Сажень* — старая русская мера длины в 2,1336 м.

[8] *Верста* — старая русская мера длины в 1,0668 км.

[9] *...получают газ из генераторов* — угарный газ CO, получавшийся в газогенераторных цехах путем т. н. сухой перегонки древесины без доступа кислорода. Ввиду отсутствия добычи и транспортировки природного газа эта технология, позволявшая избегать вредного воздействия на металл минеральных примесей, содержащихся в неочищенном природном газе, на старых приуральских заводах применялась еще в середине XX в.

[10] *Никита Демидов* — Никита Демидович Антуфьев (1656—1725), из крестьян, владел кузницей в Туле, в 1694/1695 гг. основал в Туле свой первый завод, в дальнейшем создал ряд горнометаллургических заводов на Урале. В 1720 г. возведен в дворянство. Его потомство уже в 3-м поколении практически не занималось заводскими делами, обратившись к государственной и придворной службе, коллекционированию, занятиям науками и благотворительности.

[11] *Мы вышли на тормаз* — т. е. на тормозную площадку: вместо современных пневматических тормозов в старых железнодорожных вагонах до середины XX в. использовались механические тормоза: по сигналу паровоза проводник вращал рукоять или штурвал на площадке и под действием винтовой передачи тормозные колодки прижимались к колесам.

[12] *Вогул* — старое название североуральской народности манси.

[13] *Князья Сан-Донато* — один из Демидовых, Анатолий Николаевич (5-е поколение), в 1841 г. женился на племяннице Наполеона I Матильде, а затем купил себе в Италии титул князя Сан-Донато (подтвержден российским правительством в 1872 г.).

[14] *Огарков* — Василий Васильевич (1856—1918), действительный статский советник, горный инженер, писатель, литературный критик.

[15] *Десятина* — старая русская мера площади в 1,09 га.

[16] *Единоверческая церковь* — в 1800 г. было утверждено «Правило единоверия», по которому желавшим старообрядцам разрешалось строить храмы, иметь священников и проводить богослужение и таинства по старым обрядам,

подчиняясь при этом епархиальным и синодальным властям государственной Русской православной церкви.

[17] *«Людие мои, что сотворих вам, аще за добро платите злом»* — намек на убийство в 1881 г. Царя-Освободителя революционерами.

[18] *Карамзин* — Андрей Николаевич (1814—1854), полковник, сын историка Н.М. Карамзина, муж Авроры Демидовой, вдовы Павла Демидова, заводами которой в Нижнем Тагиле управлял. Оставил по себе память у рабочих как добрый, отзывчивый и щедрый управляющий. Погиб в бою с турками во время Крымской войны. На собранные рабочими деньги ему был поставлен памятник, уничтоженный при советской власти.

[19] *Паллас* — Петр Симон (1741—1811), естествоиспытатель, немец, академик Петербургской академии наук; с 1767 г. работал в России, руководитель экспедиции Академии наук 1768—1774 гг. по России.

[20] *Фунт* — старая русская мера веса в 409 г.

[21] *Штейгер* — горный мастер, заведующий работами в руднике.

[22] *Аршин* — старая русская мера длины в 71,1 см.

[23] *Скуфейка* — скуфия, головной убор православного белого и черного духовенства в виде шапочки с четырехугольным верхом.

[24] *Щекатов* — Афанасий Михайлович (1753—1814), ученый-географ, писатель и переводчик, автор «Картин России» (1807) и «Географического словаря Российского государства» (1807—1809).

[25] *Раскольники всех толков* — старообрядцы-беспоповцы, отвергавшие «никонианское» священство, вскоре разбились на множество «толков», отличавшихся деталями богослужения и совершения таинств и не имевших молитвенного, а зачастую и бытового общения между собой.

[26] *Геннин* — Виллим Иванович (де Геннин Георг Вильгельм) (1676—1750), голландец на русской службе с 1698 г., генерал-лейтенант, начальник Олонецких (с 1713 г.) и Уральских (с 1722 г.) горных заводов, с 1734 г. управляющий Главной артиллерийской канцелярией.

[27] *Крушение царского поезда* — 17 октября 1888 г. близ станции Борок Курско-Харьковско-Азовской железной дороги потерпел страшное крушение тяжелый поезд Александра III, шедший с недозволенной скоростью. Было много погибших и раненых, но царская семья уцелела, отчасти благодаря гигантской силе самого царя, удержавшего крышу развалившегося вагона-столовой.

[28] *Золотник* — старая русская мера веса в 4,266 г.

[29] *...старатель опустил туда ртуть, и она вскоре покрыла золотистой пылью* — т. н. технология амальгамирования металлов (серебра и золота) ртутью, способной поглощать мелкие пылинки рудного металла; ртуть выпаривалась, и оставался комок металла.

[30] *Арфистки* — женщины, большей частью остзейские немки, игрой на музыкальных инструментах прикрывавшие занятия проституцией, которая в России строго регламентировалась законом.

[31] *Музыка* — имеются в виду различные музыкальные «машины», исполнявшие ограниченное количество популярных мелодий.

[32] *Вердеревский* — возможно, Евгений Александрович, писатель, литературная деятельность которого приходится на 20—50-е гг. XIX в. Некоторое время жил в Перми.

[33] *Комми* — коммивояжер, торговый агент.

[34] *Кержачки* — раскольницы, старообрядки: на р. Керженце, притоке Волги, в лесах жило огромное количество старообрядцев и было много старообрядческих скитов.

[35] *Торбан* — русский и украинский щипковый музыкальный инструмент, родственный бандуре.

[36] *Штофный шугай* — традиционная русская женская одежда в виде кофты с рукавами и воротником, короткой, отрезной по талии, отделанной мехом. Штоф — плотный орнаментированный шелк.

[37] *«Фаяльское»* — т. е. якобы Файяльское, типа мадеры, от о. Файял из группы Азорских островов. Очень дорогая мадера, реально использовавшаяся лишь для купирования вин, как и настоящие херес и портвейн, активно подделывалась в России.

[38] *Смотрители подписывают подорожную* — по почтовым трактам, более или менее благоустроенным, измеренным и уставленным верстовыми столбами, ходила конная государственная почта, перевозившая не только почтовые отправления, но и пассажиров. Для проездки требовалось в почтамте взять подорожную грамоту, в которой указывалось, едет ли пассажир по казенной или по собственной надобности, количество полагавшихся ему по чину лошадей и поверстная плата. На устроенных через определенное расстояние почтовых станциях с помещениями для пассажиров, находившихся под управлением мелкого чиновника, станционного смотрителя, лошади перепрягались, подорожные регистрировались, и вносилась плата.

[39] *Полтинники и гривенники* — разменная серебряная 50- или 10-копеечная монета.

[40] *Дарственный надел* — по «Положениям 19 февраля 1861 г.» о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, крестьяне могли, по соглашению с помещиком, получить бесплатно, без выкупа, душевой земельный т. н. четвертной надел, в четверть высшего надела, определенного для данной местности законом. Надеясь прикупить затем дешевой в 60-х гг. земли, крестьяне нередко с удовольствием выходили на дарственный надел и просчитались: земля стала быстро дорожать. Поскольку и высшие размеры надела были невелики, «даренку» иногда называли за ее мизерность «кошачьим» наделом.

[41] *Остяки* — старое название североуральской народности хантов.

[42] *Кольцовская песня* — т. е. принадлежащая авторству русского народного поэта А.В. Кольцова (1809—1842).

[43] *Ссыльные шведы* — военнопленные шведы, а чаще местные эсты, карелы, ингерманландцы и финны, которых отправляли для отбывания плена в Сибирь.

[44] *Углицкий колокол* — набатный колокол, в который жители Углича ударили в связи с насильственной смертью царевича Дмитрия.

[45] *Туманные картины* — старое название диапозитивов.

[46] *Присутственные места* — местные учреждения.

[47] *Искер* — городок в Сибири, в царстве хана Кучума. Близ него Ермак настиг и разбил Махмет-Кула (Маметкула), сына Кучума.

[48] *Географический словарь Семенова* — «Географически-статистический словарь Российской Империи» под ред. П.П. Семенова-Тян-Шанского. Т. 1—5. СПб., 1861—1873.

[49] *Миллер* — Федор Богданович (1818—1881), поэт-переводчик.

[50] *Будка* — т. е. полицейская будка, где дежурит полицейский чин. От этих будок в старину полицейские стражи назывались будочниками.

[51] *Урядник* — младший полицейский чин в крестьянской волости, обычно из отставных солдат.

[52] *Болверк* — крепостной вал с боевой площадкой и бруствером наверху.

[53] *Киргизские племена* — имеются в виду кара-киргизы, как в старину называлась часть казахов, живших у р. Абакан.

[54] *«Кобылка»* — саранча, крупный кузнечик.

[55] *Места не столь отдаленные* — так официально назывались ближние места ссылки, в отличие от мест «более

отдаленных» и «отдаленнейших». Нынешняя журналистика употребляет этот термин абсолютно неправильно.

[56] *Пимы* — по-сибирски — валенки.

[57] *«Как мыши кота хоронили»* — старинная лубочная картинка, старообрядческая карикатура на Петра I, действительно, несколько схожего лицом с котом. Разыскивалась и уничтожалась властями, что обусловило ее редкостность.

[58] *Большой офицерский револьвер* — в России была свободная продажа и ношение нарезного оружия и даже массово выпускались небольшие карманные револьверы гражданского образца «Бульдог» и «Велодог» для самообороны от собак.

[59] *Прогимназия* — начальное учебное заведение с четырехлетним курсом.

[60] *Заимка* — на Урале и в Сибири хутор, небольшое хозяйство на раскорчеванной и распаханной в лесу (занятой) земле.

[61] *...цена на мясо доходила до 2 коп.* — за фунт. Например, в Петербурге в это время мясо стоило, в зависимости от качества, от 15 до 22 коп. за фунт.

[62] *Кессонные работы* — работы в огромном ящике, кессоне, под водой или ниже уровня воды, если кромка кессона поднималась над ним.

[63] *Ехали по машине* — т. е. по железной дороге. В старину паровоз называли машиной, чем он, действительно, и был, а железную дорогу — чугункой.

[64] *...выделывается железа...* — т. н. кричного железа: полученный в небольшой шахтной печи, домнице, большой слиток железа с включением недорасплавленной руды, шлаком («соком», пеной) и остатками несгоревшего угля, проковывался на молотах, в результате чего получалось чистое мягкое железо.

[65] *Мартеновская сталь* — сталь нужного состава, полученная плавлением чугуна и металлического лома с присадками в мартеновской печи, по способу французского ученого Мартена.

[66] *Дюйм* — английская мера длины в 25,4 мм; в России в технике употреблялись английские меры. Сотая часть дюйма — т. н. точка.

[67] *Аносов* — Павел Петрович (1799—1851), русский металлург. Разработал новые методы получения высококачественной стали, создал технологии получения булатной стали (книга «О булатах», 1841 г.).

[68] *Пудлинговая печь* — печь для получения из кричного железа (см. выше) пудлинговой стали путем обогащения железа углеродом из раскаленного шлака.

СОДЕРЖАНИЕ

ISBN 978-5-85209-405-6

9 785852 094056

Подписано в печать 10.07.2017.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Уч.-изд. 8,2 л. Тираж 500 экз.
Заказ № 12. Цена договорная.
Издательство: Государственная публичная
историческая библиотека России
ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1

Николай Дмитриевич Телешов (1867–1957) — русский советский писатель, поэт, организатор кружка московских писателей «Среда». Принадлежал к кругу писателей демократического направления. Его первые рассказы были опубликованы в 90-х годах XIX в. и посвящены купеческому и мещанскому быту. В 1894 г. Н.Д. Телешов по совету А.П. Чехова предпринял поездку по Западной Сибири, результатом которой стали путевые очерки «За Урал» (1897). Значительное место в очерках занимает коллективный образ переселенцев в Сибирь, их жизнь в нужде, голоде и холоде. Скитаясь по городам Западной Сибири — Перми, Екатеринбургу, Кургану, Томску, Тюмени, другим городам и поселкам Сибири и Урала, автор описывает быт ссыльных, рабочих, крестьян, условия труда на рудниках и фабриках, приводит интересные исторические факты

